



Строку диктує
ЧУВСТВО

БОРИС
ПАСТЕРНАК



БОРИС
ПАСТЕРНАК

Строку
диктує
ЧУВСТВО



ЭКСМО



Борис
ПАСТЕРНАК

•

Строку диктует
чувство



Масицкий

Золотая серия поэзии

Борис
ПАСТЕРНАК

Строку диктует
чувство

•

Москва
ЭКСМО-ПРЕСС
2 0 0 1

УДК 882-1
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
П 19

Составители *Е. Б. Пастернак* и *Е. В. Пастернак*

Оформление художника *Е. Ененко*

Лучшие стихотворения прошлого и настоящего
в «Золотой серии поэзии»

Серия основана в 2001 году

Пастернак Б. Л.

П 19 Строку диктует чувство: Стихотворения. —
М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — 416 с.

ISBN 5-04-004395-3

Эта книга шаг за шагом открывает историю жизни и творческого становления великого русского поэта Бориса Пастернака. Его внутренний мир, его поэтические образы, мысли, душевное настроение, как метеориты из далеких галактик, мчатся к читателю и «врезаются с наскоку» в людские души звездным дождем его поэзии и прозы.

УДК 882-1
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 5-04-004395-3

© Оформление, составление. ЗАО
«Издательство «ЭКСМО-Пресс», 2001



Повесть наших отцов
Точно повесть
Из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится
Точно во сне.







* * *

«Я родился в Москве 29 января старого стиля 1890 года. Многим, если не всем, обязан отцу, академику живописи Леониду Осиповичу Пастернаку, и матери, превосходной пианистке...»

*Борис Пастернак.
Автобиография*

* * *

«...Папа, его блеск, его фантастическое владение формой, его глаз, как почти ни у кого из современников, легкость его мастерства, его способность играючи охватывать по несколько работ в день и несоответственная малость его признания...»

*Борис Пастернак.
Из письма к О. М. Фрейденберг
30 ноября 1948*

* * *

«...Мама была великолепной пианисткой, именно воспоминание о ней, о ее игре, о ее обращении с музыкой, о месте, которое она ей так просто отводила в

обиходе, дало мне в руки то большое мерило, которого не выдерживали потом все последующие мои наблюдения...»

*Борис Пастернак.
Из письма к Ж. Л. Пастернак
16 мая 1958*

День рождения Бориса Пастернака 29 января совпадает с днем гибели Пушкина и приходится на 10 февраля нового стиля, день памяти преподобного Ефрема Сирина, великого раннехристианского учителя церкви и поэта IV века. Квартира, в которой родился Борис Пастернак, находилась в доме купца Веденеева у старых Триумфальных ворот. Там начинались ямские слободы и цены были не так высоки, как в центральной части города. К столетию со дня рождения Бориса Пастернака на доме была повешена мемориальная доска. В 1891 году семья переехала в дом Лыжина, находившийся по соседству, напротив здания Духовной семинарии в Оружейном переулке¹.

* * *

«...Необъяснимым образом что-то запомнилось из осенних прогулок с кормилицей по семинарскому парку. Размокшие дорожки под кучами опавших листьев, пруды, насыпные горки и крашенные рогатки семинарии, игры и побоища гогочущих семина-

¹ Текст, набранный в книге курсивом, принадлежит составителям — Е. Б. и Е. В. Пастернакам.



Дом Веденсева у старых Триумфальных ворот.

ристов на больших переменах. Прямо напротив ворот семинарии стоял каменный двухэтажный дом с двором для извозчиков и нашею квартирой над воротами в арке их сводчатого перекрытия.

Ощущения младенчества складывались из элементов испуга и восторга. Сказочностью красок они восходили к двум центральным образам, надо всем господствовавшим и всё объединявшим. К образу медвежьих чучел в экипажных заведениях Каретного ряда и к образу добряка-великана, сутулого, косматого, глухо басившего книгоиздателя П. П. Кончаловского, к его семье и к рисункам карандашом, пером и тушью Серова, Врубеля, моего отца и братьев Васнецовых, висевшим в комнатах его квартиры.

Околоток был самый подозрительный — Тверские-Ямские, Труба, переулки Цветного. То и дело оттаскивали за руку. Чего-то не надо было знать, что-то не следовало слышать. Но няни и мамки не терпели одиночества, и тогда пестрое общество окружало нас. И в полдень учили конных жардармов на открытом плацу Знаменских казарм.

Из этого общения с нищими и странниками, по соседству с миром отверженных и их историй и истерик на близких бульварах я преждевременно рано на всю жизнь вынес пугающую до замирания жалость к женщине и еще более нестерпимую жалость к родителям, которые умрут раньше меня и ради избавления которых от мук ада я должен совершить что-то неслыханно светлое, небывалое...»

*Борис Пастернак.
Из очерка «Люди и положения»*

В необеспеченной семье молодого живописца и пианистки искусство сливалось с повседневным домашним обиходом. Л. О. Пастернак много работал и успевал зарисовывать всё, что видел дома, на улицах, на вечерах и собраниях.

В феврале 1893 года родился второй сын Александр. В доме появилась няня Акулина Михалина, из простых крестьян, человек высокой духовной культуры. Она приобщила Бориса Пастернака к православию.

* * *

«...Я был крещен своей няней в младенчестве, но из-за ограничений, которым подвергались евреи, и к тому же в семье, которая, благодаря художественным заслугам отца, была от них избавлена и пользовалась определенной известностью, это вызывало некоторые осложнения и оставалось всегда душевной полутайной, предметом редкого и исключительного вдохновения, а отнюдь не спокойной привычкой...»

Борис Пастернак.

*Из письма к Ж. де Пруайяр
2 мая 1959*

* * *

Не как люди, не еженедельно,
Не всегда, в столетье раза два
Я молил Тебя: членораздельно
Повтори творящие слова.

И Тебе ж невыносимы смеси
Откровений и людских неволь.
Как же хочешь Ты, чтоб я был весел?
С чем бы стал Ты есть земную соль?

1915

* * *

«...недоступно высокое небо наклонялось низко-
низко к ним в детскую макушкой в нянюшкин подол,
когда няня рассказывала что-нибудь божественное, и
становилось близким и ручным, как верхушки ореш-
ника, когда его ветки нагибают в оврагах и обирают
орехи. Оно как бы окуналось у них в детской в таз с
позолотой и, искупавшись в огне и золоте, превраща-
лось в заутреню или обедню в маленькой переулоч-
ной церквушке, куда няня его водила. Там звезды
небесные становились лампадками, Боженька — ба-
тюшкой и все размещались на должности более и
менее по способностям...»

Борис Пастернак.
Из «Доктора Живаго».

*Незаурядное художественное дарование Л. О. Па-
стернака и полученное в Мюнхенской королевской
академии образование позволяли ему с успехом
участвовать в выставках и давать уроки живопи-
си и свободного рисунка с натуры. В 1893 году он
получил приглашение войти в состав преподавате-
лей Московского училища живописи.*



Училище живописи, ваяния и зодчества. Рядом церковь
св. Флора и Лавра (не сохранилась).



«...Когда мне было три года, переехали на казенную квартиру при доме Училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой против Почтамта. Квартира помещалась во флигеле внутри двора, вне главного здания.

Главное здание, старинное и красивое, было во многих отношениях замечательно. Пожар двенадцатого года пощадил его. Веком раньше, при Екатерине, дом давал тайное убежище масонской ложе. Боквое закругление на углу Мясницкой и Юшкова переулка заключало полукруглый балкон с колоннами. Вместительная площадка балкона нишею входила в стену и сообщалась с актовым залом Училища. С балкона было видно насквозь продолжение Мясницкой, убегавшей вдаль к вокзалам...

Во дворе, против калитки в небольшой сад с очень старыми деревьями, среди надворных построек, служб и сараев возвышался флигель. В подвале внизу отпускали горячие завтраки учащимся. На лестнице стоял вечный чад пирожков на сале и жареных котлет. На следующей площадке была дверь в нашу квартиру...

Два первые десятилетия моей жизни сильно отличаются одно от другого. В девяностых годах Москва еще сохраняла свой старый облик живописного до сказочности захолустья с легендарными чертами третьего Рима или былинного стольного града и всем великолепием своих знаменитых сорока сороков. Были в силе старые обычаи. Осенью в Юшковом переулке, куда выходил двор Училища, во дворе церкви Флора и Лавра, считавшихся покровителями ко-

неводства, производилось освящение лошадей, и ими, вместе с приводившими их на освящение кучерами и конюхами, наводнялся весь переулочок до ворот Училища, как в конную ярмарку...»

Борис Пастернак.
Из очерка «Люди и положения»

* * *

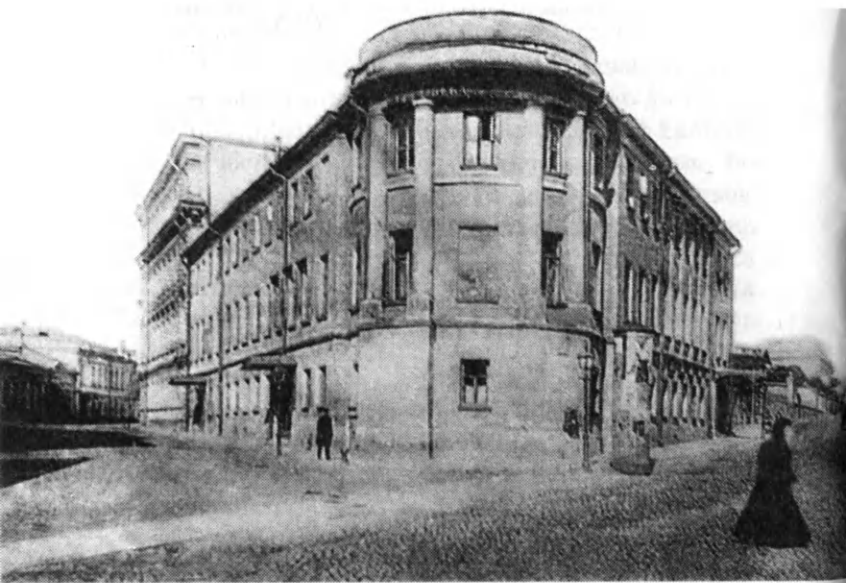
В детстве, я как сейчас еще помню,
Высунешься, бывало, в окно,
В переулке, как в каменоломне,
Под деревьями в полдень темно.

Тротуар, мостовую, подвалы,
Церковь слева, ее купола
Тень двойных тополей покрывала
От начала стены до угла.

За калитку дорожки глухие
Уводили в запущенный сад,
И присутствие женской стихии
Облекало загадкой уклад...

Из стихотворения
«Женщины в детстве». 1958

С годами семья становилась всё более знаменитой в артистической жизни Москвы. Мать после нескольких блестящих концертных сезонов, за редкими исключениями, почти перестала выступать перед публикой, посвятив себя заботам о муже и детях, которых вскоре стало четверо. Это не было отказом от профессии, она играла ежедневно и по многу часов, ее уроки музыки были су-



Здание 5-й Московской гимназии на углу Молчановки
и Поварской (не сохранилось).

щественным подспорьем в бюджете семьи. Дома устраивались музыкальные вечера. На них бывали приезжие музыканты, писатели и художники. Борис Пастернак считал обстановку родительского дома основой своего художественного становления. В ближайший круг друзей и сотрудников по Училищу входили В. Д. Поленов, И. И. Левитан, В. А. Серов.

«...Я сын художника, искусство и больших людей видел с первых дней и к высокому и исключительному привык относиться как к природе, как к живой норме. Социально, в общежитии оно для меня от рождения слилось с обиходом...»

Борис Пастернак.
Из письма к М. А. Фроману
17 июня 1927

* * *

Я рос. Меня, как Ганимеда¹,
Несли ненастья, сны несли.
Как крылья, отрастали беды
И отделяли от земли.

¹ Миф о Ганимеде, которого Зевс в образе орла мальчиком вознес на небо и сделал виночерпием на пирах богов, Пастернак считал доказательством того, как высоко в античной Греции стояло понимание детства как «заглавного интеграционного ядра» всей последующей жизни. Детству приписывалась целиком вся доза необычного, заключающаяся в мире. «И, когда по ее приему человек гигантскими шагами вступал в гигантскую действительность, поступь и обстановка считались обычными». Стихотворение, включавшееся в первую книгу Б. Пастернака «Близнец в тучах», дает объяснение его отношению к искусству, как «к живой норме», воспитанному высотой артистического окружения семьи, в которой он вырос.

Я рос. И повечерий тканых
Меня фата обволокла.
Напутствуем вином в стаканах,
Игрой печального стекла,

Я рос, и вот уж жар предплечий
Студит объятие орла.
Дни далеко, когда предтечей,
Любовь, ты надо мной плыла.

Но разве мы не в том же небе?
На то и прелесть высоты,
Что, как себя отпевший лебедь,
С орлом плечо к плечу и ты.

1913, 1928

В 1893 году Л. О. Пастернак участвовал в Передвижной выставке большой картиной «Дебютантка». В Москве выставка была размещена в залах Училища живописи. Перед открытием экспозицию осматривали художники и приглашенные. Приезжал Лев Толстой. Он остановился около «Дебютантки», имя художника было ему уже знакомо. Он сказал, что следит за его талантом. Ошалевшего от радости художника представили Толстому. Он нашелся сказать, что работает над акварелями к «Войне и миру» и мечтает об авторских разъяснениях. В один из вечеров Пастернак с женой пришли к Толстому в Хамовники. Иллюстрации к «Войне и миру» вызвали восторг.

«...23 ноября <1894 года>... Левочка, Таня и Маша уехали к Пастернаку слушать музыку. Играет его жена с Гржимали и Брандуковым...»

*Софья Андреевна Толстая.
Из «Дневника»*

* * *

«...<Эту> ночь я прекрасно помню. Посреди нее я проснулся от сладкой, щемящей муки, в такой мере ранее не испытанной. Я закричал и заплакал от тоски и страха. Но музыка заглушала мои слезы, и только когда разбудившую меня часть трио доиграли до конца, меня услышали. Занавеска, за которой я лежал и которая разделяла комнату надвое, раздвинулась. Показалась мать, склонилась надо мной и быстро меня успокоила. Наверное, меня вынесли к гостям, или, может быть, сквозь раму открытой двери я увидел гостиную. Она полна была табачного дыма. Мигали ресницами свечи, точно он ел им глаза. Они ярко освещали красное лакированное дерево скрипки и виолончели. Чернел рояль. Чернели сюртуки мужчин. Дамы до плеч высывались из платьев, как именинные цветы из цветочных корзин...

Эта ночь межевою вехой пролегла между беспмятностью младенчества и моим дальнейшим детством. С нее пришла в действие моя память и заработало сознание, отныне без больших перерывов и провалов, как у взрослого...»

*Борис Пастернак.
Из очерка «Люди и положения»*

В сентябре 1898 года Л. О. Пастернак по приглашению Л. Толстого ездил в Ясную Поляну. Ему было предложено иллюстрировать новый роман Толстого «Воскресенье».

* * *

«...Роман по мере окончательной отделки глава за главой печатался в журнале «Нива», у петербургского издателя Маркса... Толстой задерживал корректуры и в них всё переделывал. Возникла опасность, что рисунки к начальному тексту разойдутся с его последующими изменениями. Но отец делал зарисовки там же, откуда писатель черпал свои наблюдения, — в суде, пересыльной тюрьме, в деревне, на железной дороге. От опасности отступлений спасал запас живых подробностей, общность реалистического смысла...»

*Борис Пастернак.
Из очерка «Люди и положения»*





О детство! Ковш душевной глуби!
О всех лесов абориген,
Корнями вросший в самолюбье,
Мой вдохновитель, мой регент!





Р. И. Пастернак с сыновьями. Одесса. 1898 г.



Лишь только в мае в Училище живописи кончались занятия, Пастернаки ежегодно уезжали на юг. Поезд, Одесса, выезд на приморскую дачу приносили чувство свободы. Снимали дачу на Среднем фонтане. Море было под обрывистым берегом, и его присутствие ощущалось всё время. Л. О. Пастернак, как и его жена, были отсюда родом, еще живы были их родители и многочисленные родственники, к которым возили показать своих детей. Особенно близки были с семьею младшей сестры Леонида Осиповича Анной Осиповной Фрейденберг, ее мужем и детьми. На даче жили вместе с ними. Оля Фрейденберг, двоюродная сестра и ровесница Бори, вспоминала об этом времени:

«...Летом я всегда у дяди Ленчика на даче. Море. В комнатах пахнет чужим. По вечерам абажур. Тысячи мошек кружатся вокруг света... Боря очень нежный, но я его не люблю... Но Боря любит и прощает. Я гуляю с меньшим кузенком, Шуркой, и тот, затащив меня в кусты, колотит, а выручает всегда Боря; однако я предпочитаю Шурку.

Мы играем в саду. Запах гелиотропа и лилий, пахучий, на всю жизнь безвозвратный. Там кусты, и в



Боря и Шура Пастернаки. 1898 г.

них копошимся мы, дети; это лианы, это дремучие леса, это тени зарослей и листвы...

Там — первый театр. Я сочиняю патетические трагедии, а Шурка, ленивый и апатичный, нами избиваем. Мы играем, и Боря и я — одно. Мы безусловно понимаем друг друга...»

Ольга Фрейденберг. Из «Записок»

* * *

Приедается всё.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят,
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую рьяность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь, и сводишь на нет.

Ты на куче сетей.
Ты курлычешь,
Как ключ, балагурия,
И, как прядь за ушком,
Чуть щекочет струя за кормой.
Ты в гостях у детей.
Но какую неслыханной бурей
Отзываешься ты,
Когда даль тебя кличет домой!..

Из поэмы «Девятьсот пятый год»



А. Н. Скрябин. Рис. Л. О. Пастернака. 1909 г.

* * *

Илистых плавней желтый янтарь,
Блеск чернозёма.
Жители чинят снасть, инвентарь,
Лодки, паромы.
В этих низовьях ночи — восторг,
Светлые зори.
Пеной по отмели шорх-шорх
Чёрное море...

Было ли это? Какой это стиль?
Где эти годы?
Можно ль вернуть эту жизнь, эту быть,
Эту свободу?..

1944

Из стихотворения «В низовьях»

* * *

«...Весной 1903 года отец снял дачу в Оболенском, близ Малоярославца, по Брянской, ныне — Киевской, железной дороге. Дачным соседом нашим оказался Скрябин. Мы и Скрябины тогда еще не были знакомы домами.

Дачи стояли на бугре вдоль лесной опушки, в отдалении друг от друга. На дачу приехали, как водится, рано утром. Солнце дробилось в лесной листве, низко свешивавшейся над домом. Расшивали и пороли рогожные тюки. Из них тащили спальные принадлежности, запасы провизии, вынимали сковороды, ведра. Я убежал в лес.

Боже и Господи сил, чем он в то утро был полон! Его по всем направлениям пронизывало солнце, лес-

ная движущаяся тень то так, то сяк все время поправляла на нем шапку, на его подымающихся и опускающихся ветвях птицы заливались тем всегда неожиданным чириканьем, к которому никогда нельзя привыкнуть, которое поначалу порывисто громко, а потом постепенно затихает и которое горячей и частой своей настойчивостью похоже на деревья вдаль уходящей чащи. И совершенно так же, как чередовались в лесу свет и тень и перелетали с ветки на ветку и пели птицы, носились и раскатывались по нему куски и отрывки Третьей симфонии или Божественной поэмы, которую в фортепианном выражении сочиняли на соседней даче...

Предполагалось, что сочинявший такую музыку человек понимает, кто он такой, и после работы бывает просветленно ясен и отдохновенно спокоен, как Бог, в день седьмой почивший от дел своих. Таким он и оказался...

Он спорил с отцом о жизни, об искусстве, о добре и зле, нападал на Толстого, проповедовал сверхчеловека, аморализм, нищезанство. В одном они были согласны — во взглядах на сущность и задачи мастерства. Во всем остальном расходились...

...Скрябин покорял меня свежестью своего духа. Я любил его до безумия...

Я уже и раньше, до лета в Оболенском, немного бренчал на рояле и с грехом пополам подбирал что-то свое. Теперь, под влиянием обожания, которое я питал к Скрябину, тяга к импровизациям и сочинительству разгорелась у меня до страсти. С этой осени я шесть следующих лет, все гимназические годы, отдал основательному изучению теории композиции...»

Борис Пастернак. Из очерка «Люди и положения»

* * *

Мне четырнадцать лет.
Вхутемас
Еще — школа ваянья.
В том крыле, где рабфак,
Наверху,
Мастерская отца.
В расстоянья версты,
Где столетняя пыль на Диане
И холсты,
Наша дверь.
Пол из плит,
И на плитах грязца.
Это — дебри зимы.
С декабря воцаряются лампы.
Порт-Артур уже сдан,
Но идут в океан крейсера,
Шлют войска,
Ждут эскадр,
И на старое зданье почтамта
Смотрят сумерки,
Краски,
Палитры
И профессора.
Сколько типов и лиц!
Вот душевнобольной.
Вот тупица.
В этом теплится что-то.
А вот совершенный щенок.
В классах яблоку негде упасть
И жара как в теплице.
Звон у Флора и Лавра

Сливается
С шарканьем ног.
Как-то раз,
Когда шум за стеной,
Как прибой, неослабен,
Омут комнат недвижим
И улица газом жива, —
Раздается звонок,
Голоса приближаются:
Скрябин.
О, куда мне бежать
От шагов моего божества!
Близость праздничных дней.
Четвертные.
Конец полугодья.
Искрясь струнным нутром,
Дни и ночи
Открыт инструмент.
Сочиняй хоть с утра,
Дни идут.
Рождество на исходе.
Сколько отдано елкам!
И хоть бы вот столько взамен.

Из поэмы «Девятьсот пятый год»

ЖИЗНЬ

Ты вправлена в славу, осыпана хвоей,
Закапана воском и шарком
Паркетов и фрейлин, тупею в упое
От запаха краски подарков.

Со дней переплетов под лампой
о крысах,
Орехах, балах, колымагах
Не выдохся спирт колеров и не высох
Туман клеевой на бумагах.

И Фаустов кафтан, и атласность
корсажа
Шелков Маргаритина лифа —
Что влаге младенческих глаз —
Битепажа!

Пахучая сказкой олифа.

1918—1919

* * *

«...Гимназистом третьего или четвертого класса я по бесплатному билету, предоставленному дядею, начальником петербургской товарной станции Николаевской железной дороги, один ездил в Петербург на рождественские каникулы. Целые дни я бродил по улицам бессмертного города, точно ногами и глазами пожирая какую-то гениальную каменную книгу, а по вечерам пропадал в театре Комиссаржевской. Я был отравлен новейшей литературой, бредил Андреем Белым, Гамсуном, Пшибышевским...»

Борис Пастернак.
Из очерка «Люди и положения»

¹ Ф. А. Битепаж (1832—1904) — петербургский издатель и книгопродавец. Родоначальник профессионального издания детских книг.



Семейство Пастернаков. 1905 г.

* * *

И спящий Петербург огромен,
И в каждой из его ячей
Скрывается живой феномен:
Безмолвный говор мелочей.

Пыхтят пары, грохочут тени,
Стучит и дышит машинизм.
Земля — планета совпадений.
Стечение фактов любит жизнь.

В ту ночь, нагрянув не по делу,
Кому-то кто-то что-то бурк —
И юрк во тьму, и вскоре Белый
Задумывает «Петербург».

В ту ночь, типичный петербуржец,
Ей посвящает слух и слог
Кругам артисток и натурщиц,
Еще малоизвестный Блок.

Ни с кем не знаясь, не знакомясь,
Дыша в ту ночь одним чутьем,
Они в ней открывают помесь
Обетованья с забытьем.

*Из первоначального варианта
стихотворения «9-е января». 1925*

Лето 1907 года семейство Пастернаков проводило в старинном подмосковном имении Райки, расположенном на высоком северном берегу Клязьмы недалеко от Щелкова. Многочисленные, по-



В Райках. 1909 г.

*строенные в разное время дома в парке снимали зна-
комые семьи. Оставив детей на бабушку и гувер-
нантку, родители отправились в Европу. Целью пу-
тешествия было посещение Англии, куда Л.О. Пас-
тернак был приглашен, чтобы нарисовать портрет
девочки из аристократической семьи. Сохранились
детские письма, посланные родителям, среди них
письма Бориса Пастернака, который в отсутст-
вие отца вел его деловую переписку. Особый инте-
рес представляют письма Бориса другу отца, худо-
жественному критику и коллекционеру Павлу Да-
выдовичу Эттингеру. В них нашли выражение
основы юношеского романтического мировосприя-
тия, свойственного поколению.*

*Письма Пастернака представляют собой лите-
ратурное отражение его жизни и времени, не менее
важное, чем его стихи и проза. Они оказываются
основным материалом для его биографии, источни-
ком и комментарием к его произведениям, переда-
вая впечатления и мысли в их первоначальном во-
площении. Начало огромного свода его переписки по-
ложено письмами 1906 — 1907 годов.*

Борис Пастернак — П. Д. Эттингеру

Июль 1907. Райки

Дорогой Павел Давыдович!

*Спасибо за Вашу открытку. До сих пор карта За-
падной Европы и особенно театра военных действий
наших родителей довольно отчетливо представля-
лась нам. После переправы через Калэ я решительно*

не знаю, куда мне писать. Буду писать на Лондон. Пишем мы ежедневно, но так как папа и мама до сих пор нигде не останавливались, то поклоны, поцелуи и вообще наши ежедневные рапорты следуют за нами по пятам...

Что касается нас и Райков, то все осталось в том же виде, в котором это было до отъезда папы и мамы, так как две пары бдительных очей сменились одной, вдвое сильнейшей парой; как Вы знаете наверное от папы, бабушка — в Райках. Бабушка — это институт административного характера, нечто вроде общественного спасения и... что делать, мы «спасаемся», то есть ведем себя, как подвижники, не катаемся на лодке, присутствуем на вечерней перекличке и вообще обуздываем свои аппетиты всевозможных родов. Впрочем, бабушка удивительно печет хлебы, так что аппетит низшего порядка утоляется нами великолепно.

Что касается аппетита другого, то, увы, я голоден как волк, и если волчий вой можно передать в музыкальных задачах минорного характера, то я достигаю совершенства в этом жанре и вою во все лопатки. Но я боюсь Ваших обвинений насчет прозаичности моих метафор, которые пахнут зоологическим садом...

Здесь нет никого, никого интересного, единственный человек, с которым мне хотелось бы поговорить, это Ольга Александровна¹, но это не придется, наверное...

¹ О. А. Бари (1879—1954) — художница, ученица Л.О. Пастернака.

Но что здесь, как и везде, восхитительно и никогда не надоедает, это природа. И как часто кажешься ничтожным, со всем своим исканием, со всем своим воем, перед каким-нибудь заходом солнца, когда оно обдает своим последним ровным и могучим красным дыханием (Боже, сколько прилагательных) все то великое, которого не замечает человек, когда чувствуется присутствие «святого» — красоты... И странно при виде красоты (что для меня святое святых), мой «экстаз» клонится к полюсу страдания. В этой красоте все время звучит для меня какое-то «повелительное наклонение»... пойми, сделай что-то, словом, какой-то императив, заставляющий искать той формы, в которой я мог бы реагировать на эту красоту. Углубление ли это в сущность фатума — то есть философия, ответ ли это красоте в форме восторга — искусство, — нет, это что-то неопределенное, неясное, мучительное.

На днях здесь Мамонтовы играли в четыре руки симфонию Бетховена, хорошо играли. Собиралась гроза. Знаете, в четвертой (или третьей) части этой симфонии есть длинный период, который идет все *crescendo* (весь оркестр) до апогея диссонанса — доминанты, до кульминационного пункта, где искусство требует поворота назад, вниз. Этот кульминационный пункт берется *portissimo* (постепенно выростая из могучего *crescendo*). И вот в этот момент прокатился первый гром, глухой, но ужасный, одновременно с аккордом всего оркестра. Это невозможно передать. Это было то, о чем я говорил, гений в форме искусства заключил брак с красотой стихии.

Не знаю, до чего бы договорился я, если бы не комитет общественного спасения и керосиновая лампа, которая выгорает.

Спасибо прозе, а то бы люди не спали, не ели... В регионы же эти я залез по инерции, и если бы не лампа, то Бог знает, куда бы я еще попал.

Ну, всего лучшего.

Ваш Боря





Я жил в те дни, когда на плоской
Земле прощали старикам,
Заря мирволила подросткам
И вечер к славе подстрекал.





Борис Пастернак.

Конец гимназии. 1908 г.



«...На территории одного из новых домов Разгуляя во дворе сохранялось старое деревянное жилье домовладельца-генерала. В мезонине сын хозяина, поэт и художник Юлиан Павлович Анисимов, собирал молодых людей своего толка... Читали, музицировали, рисовали, рассуждали, закусывали и пили чай с ромом...

Здесь бывал ныне умерший Сергей Николаевич Дурылин, тогда писавший под псевдонимом Сергей Раевский. Это он переманил меня из музыки в литературу, по доброте своей сумев найти что-то достойное внимания в моих первых опытах...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

* * *

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен
Чрез благовест, чрез клик колес
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

1912

* * *

Сегодня мы исполним грусть его —
Так, верно, встречи обо мне сказали,
Таков был лавок сумрак. Таково
Окно с мечтой смятенною азалий.

Таков подъезд был. Таковы друзья.
Таков был номер дома рокового,
Когда внизу сошлись печаль и я,
Участники похода такового.

Образовался странный авангард.
В тылу шла жизнь. Дворы тонули в скверне.
Весну за взлом судили. Шли к вечерне,
И паперти косил повальный март.

И отрасли, одна другой доходней,
Вздымали крыши. И росли дома,
И опускали перед нами сходни.

1911, 1928

ПИРЫ

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь
И в них твоих измен горящую струю.
Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,
Рыдающей строфы сырую горечь пью.

Исчадья мастерских, мы трезвости не терпим.
Надежному куску объявлена вражда.
Тревожный ветер ночей — тех здравиц

виночерпьем,
Которым, может быть, не сбыться никогда.

Наследственность и смерть — застольцы
наших трапез.

И тихою зарей — верхи деревьев горят —
В сахарнице, как мышь, копается анапест,
И Золушка, спеша, меняет свой наряд.

Полы подметены, на скатерти — ни крошки,
Как детский поцелуй, спокойно дышит стих,
И Золушка бежит — во дни удач на дрожках,
А сдан последний грош, — и на своих двоих.

1913, 1928

* * *

«...Я учился в университете. Я читал Гегеля и Канта. Времена были такие, что в каждую встречу с друзьями разверзались бездны, и то один, то другой выступал с каким-нибудь новоявленным открове-

ншем. Часто подымали друг друга глубокой ночью. Повод всегда казался неотложным. Разбуженный стыдился своего сна, как нечаянно обнаруженной слабости. К перепугу несчастных домочадцев, считавшихся поголовно ничтожествами, отправлялись тут же, точно в смежную комнату, в Сокольники, к переезду Ярославской железной дороги. Я дружил с девушкой из богатого дома¹. Всем было ясно, что я ее люблю. В этих прогулках она участвовала только отвлеченно, на устах более бессонных и приспособленных...»

*Борис Пастернак.
Из повести «Охранная грамота»*

СОН

Мне снилась осень в полусвете стекол,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,
И, как с небес, добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе.

Но время шло, и старилось, и глохло,
И паволокой рамы серебра,
Заря из сада обдавала стекла
Кровавыми слезами сентября.

¹ Речь идет об Иде Высоцкой (1892—1976), дочери богатого чаесторговца и коллекционера, в которую Борис Пастернак был влюблен с 1907 года. После окончания гимназии Ида поступила в Кембриджский университет, много путешествовала по Европе. Проводам и прощанию с ней посвящено стихотворение «Вокзал».

Но время шло и старилось. И рыхлый,
Как лед, трещал и таял кресел шелк.
Вдруг, громкая, запнулась ты и стихла,
И сон, как отзвук колокола, смолк.

Я пробудился. Был, как осень, темен
Рассвет, и ветер, удаляясь, нес,
Как за возом бегущий дождь соломин,
Гряду бегущих по небу берез.

1913, 1928

ВОКЗАЛ

Вокзал, несгораемый ящик
Разлук моих, встреч и разлук,
Испытанный друг и указчик,
Начать — не исчислить заслуг.

Бывало, вся жизнь моя — в шарфе,
Лишь подан к посадке состав,
И пышут намордники гарпий,
Парами глаза нам застлав.

Бывало, лишь рядом усядусь —
И крышка. Приник и отник.
Прощай же, пора, моя радость!
Я спрыгну сейчас, проводник.

Бывало, раздвинется запад
В маневрах ненастий и шпал
И примется хлопьями цапать,
Чтоб под буфера не попал.

И глохнет свисток повторенный,
А издали вторит другой,
И поезд метет по перронам
Глухой многогорбой пургой.

И вот уже сумеркам нѣвтерпъ,
И вот уж, за дымом вослед,
Срываются поле и ветер, —
О, быть бы и мне в их числе!

1913, 1928

* * *

«Моя родная Ида! Ведь ничего не изменилось от того, что я не трогал твоего имени в течение месяца? Ты знаешь, ты владеешь стольким во мне, что даже когда мне нужно сообщить что-то важное некоторым близким людям, я не мог этого только потому, что ты во мне как-то странно требовала этого для себя. А тут в Москве произошло много сложного, чисто жизненного...

Я сейчас вернулся от вас¹. Весь стол в розах, остроты и смех и темнота к концу — иллюминированное мороженое, как сказочные домики, плавающие во мраке мимо черно-синих пролетов в сад. А потом желтый зал с синими и голубыми платьями, и Зайкино² переодеванье, танец апашей, имитации и много, много номеров с капустника и Летучей мыши... Ка-

¹ Дом Высоцких находился в Чудовском переулке около Ясницкой. В советское время там был Дворец пионеров.

² Исай Александрович Добровейн (1891—1953) — композитор, впоследствии знаменитый дирижер.

кая-то легенда, разыгранная лучами пламени в зеркалах, сваями мрака в окнах, твоими прелестными сестрами и Зайкой, и скучной пепельной пошлостью остальных...»

Весна 1910

К началу 1912 года переписка с Идой Высоцкой зашла в тупик. Ида становилась чем-то недостижимым и далеким, —

«...Этой тишиной, в которой перестаешь верить в то, что были когда-то весенние школьные дни, — ею довершается все, — *писал ей Борис.* — Боже мой, — все становится темнее и неподвижнее вокруг меня — одну за другою я растерял все свои черты, — теперь и ты, кажется, поставила на мне крест... Ты давно уже перестала отсутствовать и ведешь тот вид наполовину отвлеченного существования (на бумаге письма или в названии местности) — который ничего не знает о жизни...»

* * *

«...Половину 1912 года, весну и лето, я пробыл за границей. Время наших учебных каникул приходится на Западе на летний семестр. Этот семестр я провел в старинном университете города Марбурга...

Марбург — маленький средневековый городок. Тогда он насчитывал 29 тысяч жителей. Половину составляли студенты. Он живописно лепится по горе, из которой добыт камень, пошедший на постройку его домов и церквей, замка и университета, и утопает в густых садах, темных, как ночь...»

*Борис Пастернак.
Из очерка «Люди и положения»*



Ида Высоцкая.

* * *

«...Сестры <Высоцкие> проводили лето в Бельгии. Стороной они узнали, что я — в Марбурге. В это время их вызвали на семейный сбор в Берлин. Проездом туда они пожелали меня проведать.

Они остановились в лучшей гостинице городка, в древнейшей его части. Три дня, проведенные с ними неотлучно, были не похожи на мою обычную жизнь, как праздники на будни. Без конца им что-то рассказывая, я упивался их смехом и знаками понимания случайных окружающих. Я их куда-то водил. Обоих видели вместе со мной на лекциях в университете. Так пришел день их отъезда...

Утром, войдя в гостиницу, ... я прошел к старшей и, страшно волнуясь, сказал, что дальше так продолжаться не может и я прошу ее решить мою судьбу. Нового в этом, кроме одной настоятельности, ничего не было. Она поднялась со стула, пятясь назад перед явностью моего волнения, которое как бы наступало на нее. Вдруг у стены она вспомнила, что есть на свете способ прекратить все это разом, и — отказала мне...»

*Борис Пастернак.
Из повести «Охранная грамота»*

МАРБУРГ

Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложение, —
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне — отказ.
Как жаль ее слез! Я святого блаженней.

Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен
Вторично родившимся. Каждая малость
Жила и, не ставя меня ни во что,
В прощальном значении своем подымалась.

Плитняк раскалялся, и улицы лоб
Был смугл, и на небо глядел исподлобья
Булыжник, и ветер, как лодочник, греб
По липам. И все это были подобию.

Но, как бы то ни было, я избегал
Их взглядов. Я не замечал их приветствий.
Я знать ничего не хотел из богатств.
Я вон вырывался, чтоб не разреветься.

Инстинкт прирожденный, старик-подхалим,
Был невыносим мне. Он крался бок о бок
И думал: «Ребятня зазноба. За ним,
К несчастью, придется присматривать в оба».

«Шагни, и еще раз», — твердил мне инстинкт
И вел меня мудро, как старый схоластик,
Чрез девственный непроходимый тростник
Нагретых деревьев, сирени и страсти.

«Научишься шагом, а после хоть в бег», —
Твердил он, и новое солнце с зенита
Смотрело, как сызнова учат ходьбе
Туземца планеты на новой планиде.

Одних это всё ослепляло. Другим —
Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи.
Копались цыплята в кустах георгин,
Сверчки и стрекозы, как часики, тикали.

Плыла черепица, и полдень смотрел,
Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге
Кто, громко свища, мастерил самострел,
Кто молча готовился к Троицкой ярмарке.

Желтел, облака пожирая, песок.
Предгрозые играло бровями кустарника.
И небо спекалось, упав на кусок
Кровоостанавливающей арники.

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лед этот, эту поверхность
(Как ты хороша!) — этот вихрь духоты...
О чем ты? Опомнись! Пропало... Отвергнут.

Тут жил Мартин Лютер. Там — братья
Гримм.

Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.
И всё это помнит и тянется к ним.
Всё — живо. И всё это тоже — подобья.

Нет, я не пойду туда завтра. Отказ —
Полнее прощанья. Всё ясно. Мы квиты.
Вокзальная сутолока не про нас.
Что будет со мною, старинные плиты?

Повсюду портпледы разложит туман,
И в обе оконницы вставят по месяцу.
Тоска пассажиркой скользнет по томам
И с книжкой на оттоманке поместится.

Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику,
Бессонницу знаю. У нас с ней союз.
Зачем же я, словно прихода лунатика,
Явления мыслей привычных боюсь?

Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу,
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу.

И тополь — король. Я играю с бессонницей.
И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.

1916, 1928, 1945

События, пережитые летом 1912 года в Марбурге, определили дальнейшее развитие судьбы Пастернака. Отправляясь в Марбург, он с самыми серьезными намерениями готовился познакомиться с вершинами современной философии и проверить свои силы. Когда же он в августе вернулся в Москву, у него не оставалось сомнений в том, что его истинное призвание — искусство. Лето 1912 года он считал началом своей поэтической биографии, написанные или начатые тогда стихотворения и навеянные пребыванием там картины и образы составили тематическое содержание его первых лирических книг и были пронесены в памяти через всю жизнь.



Марбурґ.

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Не поправить дня усилиями светилен,
Не поднять теням крещенских покрывал.
На земле зима, и дым огней бессилен
Распрямить дома, полегшие вповал.

Булки фонарей и пышки крыш, и черным
По белу в снегу — косяк особняка:
Это — барский дом. И я в нем гувернером¹.
Я один — я спать услад ученика.

Никого не ждут. Но — наглухо портьеру.
Тротуар в буграх, крыльцо замечено.
Память, не ершишь! Срастись со мной!
Уверуй
И уверь меня, что я с тобой — одно.

Снова ты о ней? Но я не тем взволнован.
Кто открыл ей сроки, кто навел на след?
Тот удар — исток всего. До остального,
Милостью ее, теперь мне дела нет.

Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин
Вмерзшие бутылки голых черных льдин.
Булки фонарей, и на трубе, как филин,
Потонувший в перьях, нелюдимый дым.

1913, 1928

¹ С осени 1914-го по весну 1915 года Пастернак работал домашним учителем в семье богатого коммерсанта Морица Филиппа гувернером его сына Вальтера.

Весной 1913 года Пастернак сдал выпускные экзамены в университете и летом написал стихотворения своей первой книги «Близнец в тучах». Она вышла в конце года в маленьком издательстве «Лирика», созданном на началах складчины друзьями из кружка Анисимова.

* * *

«...В нее вошло двадцать одно стихотворение, хотя написано к тому времени было значительно больше. Одна тетрадь неизданных стихов хранилась у меня, затем автор отобрал ее, и какова была ее участь — не знаю. В выборе стихов деятельное участие, по-видимому, принимали Бобров и Асеев, что, по всей вероятности, сказалось на составе книги. Как следует из предисловия, книга «Близнец в тучах» рассматривалась как объявление войны символизму, хотя налет символизма в ней достаточно силен. Правильней было бы сказать — это была новая форма символизма, все время не упускавшая из виду реальность восприятия и душевного мира. Последнее придавало книге свежесть и своеобразное очарование, несмотря на то, что каждое стихотворение в известном смысле представляло собой ребус.

...Пастернак не был гротескным поэтом. Несмотря на все своеобразие взгляда, он не искажал, а только перемещал вещи и их контуры. По существу он был идеалистом, и темы имели для него огромное значение. Тему он не давал в земной ограниченности, загромождая ее космическими и просто встреченными по дороге частностями. Из непонимания этой его особенности и происходили все недоразумения, свя-

занные с критикой и оценкой. Помимо скрытого смысла, стихотворения имели свою собственную музыкальную стихию, осложнявшую этот смысл новой семантикой не логического, а музыкального характера. Вот почему «Близнец в тучах» вызвал как восторженное признание ценителей поэзии, учувших новое и могучее дарование, так и идиотский смех эпигонов, создавших себе кумир из заветов Пушкина...»

Константин Локс.

Из «Повести об одном десятилетии»

* * *

Когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят,
Налево развернется Инд,
Правей пойдет Евфрат.

А посреди меж сим и тем
Со страшной простотой
Легенде ведомый Эдем
Взовьет свой ствольный строй.

Он вырастет над пришлецом
И прошумит: мой сын!
Я историческим лицом
Вошел в семью лесин.

Я — свет. Я тем и знаменит,
Что сам бросаю тень.
Я — жизнь земли, ее зенит,
Ее начальный день.

1913, 1928

ЗИМА

Прижимаюсь щекою к воронке

Завитой, как улитка, зимы.

«По местам, кто не хочет —

к сторонке!»

Шумы-шорохи, гром кутерьмы.

«Значит — в «море волнуется»?

в повесть,

Завивающуюся жгутом,

Где вступают в черед не готовясь?

Значит — в жизнь? Значит — в повесть

о том,

Как нечаян конец? Об уморе,

Смехе, сутолоке, беготне?

Значит — вправду волнуется море

И стихает, не справясь о дне?»

Это раковины ли гуденье?

Пересуды ли комнат-тихонь?

Со своей ли поссорившись тенью,

Громыхает заслонкой огонь?

Поднимаются вздохи отдушин

И осматриваются — и в плач.

Черным храпом карет перекушен,

В белом облаке скачет лихач.

И невыполотые заносы
На оконный ползут парапет.
За стаканчиками купороса
Ничего не бывало и нет¹.

1913, 1928

* * *

Встав из грохочущего ромба
Передрассветных площадей,
Напев мой опечатан пломбой
Неизбываемых дождей.

Под ясным небом не ищите
Меня в толпе сухих коллег.
Я смок до нитки от наитий,
И север с детства мой ночлег.

Он весь во мгле и весь — подобье
Стихами отягченных губ,
С порога смотрит исподлобья,
Как ночь, на объясненья скуп.

Мне страшно этого субъекта,
Но одному ему вдогад,
Зачем ненареченный некто, —
Я где-то взят им напрокат.

1913, 1928

¹ Стаканчики с купоросным маслом ставились на зиму между оконными рамами, чтобы не запотевали стекла.

* * *

«...Наступила зима, Рождество, на Масленичной неделе я сидел у себя в Брянских комнатах и писал статью об Апулее, изредка встречаясь с Борисом, который вдруг ушел от родителей и поселился в крохотной комнатке в Лебяжьем переулке. За это время я сравнительно редко встречался с ним. Знал, что он дружит с Асеевым и тремя сестрами Синяковыми, приехавшими в Москву из Харькова. Вспомнил я об этом вот почему.

На столе в крохотной комнатке лежало Евангелие. Заметив, что я бросил на него вопросительный взгляд, Борис вместо ответа начал мне рассказывать о сестрах Синяковых. То, что он рассказывал, и было ответом. Ему нравилась их дикая биография.

В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожей да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега...»

*Константин Локс.
Из «Повести об одном десятилетии»*

МЕТЕЛЬ

1

В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожей да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега, —

Постой, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, лишь ворожей
Да вьюги ступала нога, до окна
Дохлестнулся обрывок шальной шлей.

Ни зги не видать, а ведь этот посад
Может быть в городе, в Замоскворечьи,
В Замостьи, и прочая (в полночь
забредший
Гость от меня отшатнулся назад).

Послушай, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, одни душегубы,
Твой вестник — осиновый лист, он
безгубый,
Безгласен, как призрак, белей полотна!

Метался, стучался во все ворота,
Кругом озираясь, смерчком с мостовой...
— Не тот это город, и полночь не та,
И ты заблудился, ее вестовой!

Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста.
В посаде, куда ни один двуногий...
Я тоже какой-то... я сбился с дороги:
— Не тот это город, и полночь не та.

2

Все в крестиках двери, как в Варфоломееву
Ночь. Распоряженья пурги-заговорщицы:
Заваливай окна и рамы заклеивай,
Там детство рождественской елью
топорщится.

Бушует бульваров безлиственных заговор,
 Они поклялись извести человечество.
 На сборное место, город! За́ город!
 И вьюга дымится, как факел над нечистою.
 Пушинки непрошено велятся на руки.
 Мне страшно в безлюдьи пороши
 разнuzданной.
 Снежинки снуют, как ручные фонарики.
 Вы узнаны, ветки! Прохожий, ты узнан!

Дыра полыньи, и мерещится в музыке
 Пурги: — Колиньи, мы узнали твой адрес!
 Секиры и крики: — Вы узнаны, узники
 Уюта! — и по́ двери мелом — крест-накрест.

Что лагерем стали, что подняты на ноги
 Подонки творенья, метели — спола́горя.
 Под праздник отправятся к пра́отцам
 правнуки.
 Ночь Варфоломеева. За́ город, за́ город!

1914, 1928

* * *

«...Превратности истории были так близко. Но
 кто о них думал?.. Блестела лаковая зелень тополей.
 Краски были в последний раз той ядовитой травя-
 нистости, с которой они вскоре навсегда расстались...»

Борис Пастернак.
 Из «Охранной грамоты»

ВЕСНА**1**

Что почек, что клейких заплывших огарков
Налеплено к веткам! Затеplen
Апрель. Возмужалостью тянет из парка,
И реплики леса окрепли.

Лес стянут по горлу петлею пернатых
Гортаней, как буйвол арканом,
И стонет в сетях, как стенает в сонатах
Стальной гладиатор органа.

Поэзия! Греческой губкой в присосках¹
Будь ты, и меж зелени клейкой
Тебя б положил я на мокрую доску
Зеленой садовой скамейки.

Расти себе пышные брыжжи и фижмы,
Вбирай облака и овраги,
А ночью, поэзия, я тебя выжму
Во здравие жадной бумаги.

2

Весна! Не отлучайтесь
Сегодня в город. Стаями
По городу, как чайки,
Льды раскричались, таючи.

¹ Объяснением этого образа служат слова Пастернака из письма к родителям: «...вещь, как губка, пропитывалась всегда... всем тем, что вблизи нее находилось: приключениями ближайшими, событиями, местом, где я тогда жил, и местами, где бывал, погодой тех дней».

Земля, земля волнуется,
И катятся, как волны,
Чернеющие улицы —
Им, ветреницам, холодно.

По ним плывут, как спички,
Сгорая и захлебываясь,
Сады и электрички —
Им, ветреницам, холодно.

От кружки синевы со льдом,
От пены буревестников
Вам дурно станет. Впрочем, дом
Кругом затоплен песнью.

И бросьте размышлять о тех,
Кто выехал рыбачить.
По городу гуляет грех
И ходят слезы падших.

3

Разве только грязь видна вам,
А не скачет таль в глазах?
Не играет по канавам —
Словно в яблоках рысак?

Разве только птицы cedят,
В синем небе щебеча,
Ледяной лимон обеден
Сквозь соломину луча?

Оглянись, и ты увидишь
До зари, весь день, везде,
С головой Москва, как Китеж, —
В светло-голубой воде.

Отчего прозрачны крыши
И хрустальны колера?
Как камыш, кирпич колыша,
Дни несутся в вечера.

Город, как болото, топок,
Струпья снега на счету,
И февраль горит, как хлопок,
Захлебнувшийся в спирту.

Белым пламенем измучив
Зоркость чердаков, в косом
Переплете птиц и сучьев —
Воздух гол и невесом.

В эти дни теряешь имя,
Толпы лиц сшибают с ног.
Знай, твоя подруга с ними,
Но и ты не одинок.

1914

Начало Первой мировой войны Пастернак встретил в имении Петровское на Оке, где жил на даче у поэта Ю.К. Балтрушайтиса в качестве учителя его сына. Ненастье первых дней, бабьи слезы и причитания на железнодорожных станциях стали для Пастернака предвестием национальной катастрофы.

* * *

«...Уже мы проваливались по всем трудным для огромной и одухотворенной России предметам транспорта и снабженья... Тем временем, как она мыслила вагонами, в вагонах этих дни и ночи спешно с песнями вывозили крупные партии свежего коренного населения в обмен на порченное, возвращавшееся санитарными поездами. И лучшие из девушек и женщин шли в сестры...»

*Борис Пастернак.
Из «Охранной грамоты»*

ДУРНОЙ СОН

Прислушайся к вьюге, сквозь десны
процеженной,
Прислушайся к голой побежке бесснежья.
Разбиться им не обо что, и заносы
Чугунною цепью проносятся понижу
Полями, по чересполосице, в поезде,
По воздуху, по снегу, в отзывах ветра,
Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых,
Сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб.

Полями, по воздуху, сквозь окоlesiцу,
Приснившуюся Небесному Постнику.
Он видит: попадали зубы из челюсти¹,
И шамкают замки, поместия с пришептом,

¹ Видеть во сне выпадающие зубы считается в народных поверьях дурной приметой, предвещающей смерть.

Всё вышиблено, ни единого в целости,
И Постнику тошно от стука костей.

От зубьев пилотов, от флотских трезубцев,
От красных зазубрин карпатских зубцов.
Он двинуться хочет, не может проснуться,
Не может, засунутый в сон на засов.

И видит еще. Как назём огородника,
Всю землю сравнивали с землей на Стоходе¹.
Не верит, чтоб выси зевнулось когда-нибудь
Во всю ее бездну, и на небо выплыл,
Как колокол на перекладине дали,
Серебряный слиток глотательной впадины,
Язык и глагол ее, — месяц небесный.

Нет, косноязычный, гундосый и сиплый,
Он с кровью заглочен хрящами развалин.
Сунь руку в крутящийся щебень метели, —
Он на руку вывалится из расселины
Мясистой култышкою, мышцей бесцельной
На жиле, картежиной напроць отстреленной.
Его отожгло, как отёкшую тыкву.
Он прыгнул с гряды за ограду. Он в рытвине.
Он сорван был битвой и, битвой

подхлестнутый,

Как шар, откатился в канаву с откоса
Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых,
Сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб.

¹ Река Стоход, находящаяся в Волынской губернии, — место кровопролитных военных действий в мае — июне 1916 года.

Прислушайся к гулу раздолий неезженных,
 Прислушайся к бешеной их перебежке.
 Расскальзывающаяся артиллерия
 Тарелями¹ ластится к отзывам ветра.
 К кому присоседится, верстами меряя,
 Слова гололедицы, мглы и лафетов?
 И сказка ползет, и клочки околесицы,
 Мелькая бинтами в желтке ксероформа²,
 Уносятся с поезда в поле. Уносятся
 Платформами по снегу в ночь к семафорам.

Сопят тормоза санитарного поезда.
 И снится, и снится Небесному Постнику...

1914, 1928.

* * *

«...Через год я уехал на Урал. Перед тем я на несколько дней ездил в Петербург³. Война чувствовалась тут меньше, чем у нас. Тут давно обосновался Маяковский, тогда уже призванный.

Как всегда, оживленное движение столицы скрадывалось щедростью ее мечтательных, нуждами жизни не исчерпываемых просторов. Проспекты сами были цвета зимы и сумерек, и в придачу к их серебристой порывистости не требовалось много фонарей и снегу, чтобы заставить их мчаться вдаль и играть.

¹ Тарель — точеный обод на пушках.

² Ксероформ — дезинфицирующая мазь, употреблявшаяся при перевязках раненых.

³ Поездка в Петербург состоялась в конце октября 1915 года.



Маяковский. 1918 г.

Мы шли с Маяковским по Литейному, он мял
взмахами шагов версты улиц, и я, как всегда, пора-
жался его способности быть чем-то бортовым и об-
рамляющим к любому пейзажу. Искристо-серому
Петрограду он в этом отношении шел еще больше,
чем Москве...»

*Борис Пастернак.
Из «Охранной грамоты»*

ПЕТЕРБУРГ

Как в пулю сажают вторую пулю
Или бьют на пари по свечке,
Так этот раскат побережий и улиц
Петром разряжён без осечки.

О как он велик был! Как сеткой конвульсий
Покрылись железные щеки,
Когда на Петровы глаза навернулись,
Слезая их, заливы в осоке!

И к горлу балтийские волны, как комья
Тоски, подкатали; когда им
Забвеньё владело; когда он знакомил
С империей царство, край с краем.

Нет времени у вдохновенья. Болото,
Земля ли, иль море, иль лужа, —
Мне здесь сновиденье явилось, и счёты
Сведу с ним сейчас же и тут же.

Он тучами был, как делами, завален.
В ненастья натянутый парус
Чертежной щетиною ста готовален
Врезалась царская ярость.

В дверях, над Невой, на часах, гайдуками,
Века пожирая, стояли
Шпалеры бессонниц в горячечном гаме
Рубанков, снастей и пицалей.

И знали: не будет приема. Ни мамок,
Ни дядек, ни бар, ни холопей,
Пока у него на чертежный подрамок
Надеты таежные топи.

Волны толкутся. Мостки для ходьбы.
Облачно. Небо над буюм, залитым
Мутью, мешает с толченым графитом
Узких свистков паровые клубы.

Пасмурный день растерял катера.
Снасти крепки, как раскуренный кнастер¹.
Дегтем и доками пахнет ненастье
И огурцами — баркасов кора.

С мартовской тучи летят паруса
Наоткось, мокрыми хлопьями в слякоть,
Тают в каналах балтийского шлака,
Тлеют по черным следам колеса.

Облачно. Щелкает лодочный блок.
Пристани бьют в ледяные ладоши.
Гулко булыжник обрушивши, лошадь
Глухо въезжает на мокрый песок.

Чертежный рейсфедер
Всадника медного

¹ Кнастер — сорт трубочного табака.

От всадника — ветер
Морей унаследовал.
Каналы на прибыли,
Нева прибывает.
Он северным грифелем
Наносит трамваи.

Попробуйте, лягте-ка
Под тучею серой,
Здесь скачут на практике
Поверх барьеров.

И видят окраинцы:
За Нарвской, на Охте,
Туман продирается,
Отодранный ногтем.

Петр машет им шляпою,
И плещет, как прапор,
Пурги расцарапанный,
Надорванный рапорт.

Сограждане, кто это,
И кем на терзанье
Распущены по ветру
Полотнища зданий?

Как план, как ландкарту
На плотном папирусе,
Он город над мартом
Раскинул и выбросил.

Тучи, как волосы, встали дыбом
Над дымной, бледной Невой.

Кто ты? О, кто ты? Кто бы ты ни был,
Город — вымысел твой.

Улицы рвутся, как мысли, к гавани
Черной рекой манифестов.

Нет, и в могиле глухой и в саване
Ты не нашел себе места.

Волн наводнения не сдержишь сваями.
Речь их, как кисти слепых повитух.
Это ведь бредишь ты, невменяемый,
Быстро бормочешь вслух.

1915

Через неделю после встречи Нового, 1916 года Пастернак уехал на Урал, где служил конторщиком на химических заводах, работавших на оборону. Зимний рассвет среди лесистых Уральских гор застал его в медленно шедшем пассажирском поезде между Пермью и горнорудным районом, расположенным на севере Пермской губернии. Граница с Азией проходила где-то рядом, по хребту, из-за которого вставало яркое солнце. В окнах движущегося поезда разворачивалась поразительная панорама, отразившаяся в написанных тогда стихах.

УРАЛ ВПЕРВЫЕ

Без родовспомогательницы, во мраке, без
памяти,

На ночь натыкаясь руками, Урала
Твердыня орала и, падая зámертво,
В мученьях ослепшая, утро рожала.

Гремя опрокидывались нечаянно задетые
Громады и бронзы массивов каких-то,
Пыхтел пассажирский. И, где-то от этого
Шарахаясь, падали призраки пихты.

Коптивший рассвет был снотворным. Не и́наче:
Он им был подсыпан — заводам и горам —
Лесным печником, злоязычным Горынычем,
Как опий попутчику опытным вором.

Очнулись в огне. С горизонта пунцового
На лыжах спускались к лесам азиатцы,
Лизали подошвы и соснам подсовывали
Короны и звали на царство венчаться.

И сосны, повстав и храня иерархию
Мохнатых монархов, вступали
На устланный наста оранжевым бархатом
Покров из камки и сусали.

1916

Борис Пастернак — родителям

30 января 1916. Всеволодо-Вильва.

...Здешний быт, климат, природа, здешнее проведение времени мое и мои занятия, — все это настолько далеко от Москвы, — хотя бы географически: четырьмя ночами пути по железной дороге отделен я от Ярославского вокзала; — настолько дале-

ко и несходно, что мне не верится, будто назад две недели я еще был в Москве...

Здесь имеется провинциализм и больше, уездовщина, и больше, глухая уральская уездовщина не отстоянной густоты и долголетнего настоя. Но все это или многое уже уловлено Чеховым, хотя надо сказать, нередко со специфической узостью юмориста, обещавшего читателю смешить его. Этот дух не в моем жанре, и литературно вряд ли я мои здешние наблюдения использую. Косвенно, конечно, все эти темы и типы в состав моей туманной костюмерной войдут и в ней останутся. Вообще мне трудно решить, кто я, литератор или музыкант, говорю, трудно решить тут, где я стал как-то свободно и часто и на публике импровизировать, но увы, техникой пока заниматься не удастся, хотя это первое прикосновение к Ганону¹ и пианизму на днях, вероятно, произойдет...

Я написал новую новеллу. Я заметил теперь и примирился с этим как со стилем, прямо вытекающим из остальных моих качеств и задержанных склонностей, что и прозу я пишу как-то так, как пишут симфонии. Сюжет, манера изложения, стороны некоторых описаний, вообще то обстоятельство: на чем мое внимание останавливается и на чем не останавливается, все это разнообразные полифонические средства, и как оркестром этим надо пользоваться,

¹ Ганон — сборники упражнений и этюдов, названные по имени композитора.

особенно все это смешивая и исполняя свой вымысел так, чтобы это получилась вещь с тоном, неуклонным движением, увлекательная и т. д...

3 февраля 1916. Всеволодо-Вильва.

...А здесь действительно чудесно, я одно время много катался и гулял, теперь стараюсь зацементировать прочно фундамент для работы и занятий музыкой; когда этот фундамент будет достаточно крепок, опять вернусь к местным удовольствиям, которым случай подобный, быть может, никогда уже больше не представится, я имею в виду то изобилие, в котором их можно здесь иметь, и ту широту, с которою ими можно пользоваться...

То, что я один здесь — прекрасно, конечно; и я верно понял себя, так себя поняв. Еще лучше то, что вряд ли когда такой образ жизни у меня изменится. Но я дам себе свободу совмещать что угодно с этим одиночеством, необходимым мне настолько, что не папе, который совершенно по характеру иной, чем я, судить о степени необходимости одиночества для меня...

18 апреля 1916. Всеволодо-Вильва.

...Река с неделю уже как вскрылась. Вчера совсем не спал. Лег в 12, встал в 2 часа ночи, а в три уже с Лундбергом¹ на реку пошел. Там нас ждали два фабричных мастера и вот мы на паре яванских пирог (на которых одним веслом гребут) сделали 20 верст по

¹ Евгений Германович Лундберг (1887 — 1965) — писатель и журналист, инициатор поездки Пастернака на Урал.



Б. Пастернак на Урале. 1916 г.

реке, воротясь домой по полотну железной дороги с... двумя бекасами и селезнем всего. Я совсем не стрелял, предоставив свое ружье лучшим стрелкам, и задумал доставить себе это удовольствие как-нибудь solo.

Сегодня встал в пять и пошел берегом. Куда девались вчерашние бекасы? А я, заметив вчера, до какой степени их много, дал патроны наши все до последнего бекасинником набить, и у меня патронов с крупной дробью не было. Правда, и утки, на которых я все же набрел сегодня, близко меня к себе не подпустили бы. Возможности нет по сухому камышу неслышно ступать...

ЛЕДОХОД

Еще о всходах молодых
Весенний грунт мечтать не смеет.
Из снега выкатив кадык,
Он берегом речным чернеет.
Заря, как клещ, впилась в залив.
И с мясом только вырвешь вечер
Из топи. Как плотолюбив
Простор на севере зловещем!
Он солнцем давится взаглот
И тащит эту ношу по мху.
Он шлепает ее об лед
И рвет, как розовую семгу.
Увалы хищной тишины,
Шатанье сумерек нетрезвых, —

Но льдин ножи обнажены,
И стук стоит зеленых лезвий.

Немолчный, алчный, скучный хрип,
Тоскливый лязг и стук ножовый,
И сталкивающихся глыб
Скрежещущие пережёвы.

1916, 1928

НА ПАРОХОДЕ

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет¹.

Гремели блюда у буфетчика.
Лакей зевал, сочтя судки.
В реке, на высоте подсвечника,
Кишмя кишели светляки.

Они свисали ниткой искристой
С прибрежных улиц. Било три.
Лакей салфеткой тщился выскрести
На бронзу всплывший стеарин.

Седой молвой, ползущей йсстари,
Ночной былиной камыша

¹ Стихотворение написано после двухдневной поездки по делам заводов в Пермь вместе с женой директора Ф.Н. Збарской.

Под Пермь, на бризе, в быстром бисере
Фонарной ряби Кама шла.

Волной захлебываясь, на́ волос
От затопленья, за суда
Ныряла и светильней плавала
В лампаде камских вод звезда.

На пароходе пахло кушаньем
И лаком цинковых белил.
По Каме сумрак плыл с подслушанным,
Не пророня ни всплеска, плыл.

Держа бокал в руке, вы суженным
Зрачком следили за игрой
Обмолвок, вившихся за ужином,
Но вас не привлекал их рой.

Вы к былям звали собеседника,
К волне до вас прошедших дней,
Чтобы последнею отцединкой
Последней капли кануть в ней.

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

И утро шло кровавой банею,
Как нефть разлившейся зари,
Гасить рожки в кают-компании
И городские фонари.

17 мая 1916. Всеволодо-Вильва

В начале лета Борис Пастернак через Екатеринбург, Уфу, Самару и Сызрань приехал в Москву. Он собрал и подготовил к печати свою вторую книгу стихов «Поверх барьеров». Уже сдав книгу в издательство, он писал своему другу поэту Сергею Боброву:

«...Что до заглавия — колеблюсь. Колеблюсь оттого, что самостоятельной ценности в отдельном стихотворении не могу сейчас видеть. Старое понятие техничности в книжке тоже не соблюдено, и если подчеркнуть заглавием этот момент, произойдет легко предвосхитимое недоразумение.

Новая техничность, поскольку она у других на практике осуществляется, а у меня в теории существовала... — тоже с очевидностью целым рядом вещей нарушена в сторону старейших даже, чем наши, — привычек... Вот предположительные заглавия: Gradus ad Parnassum¹, 44 упражнения, Поверх барьеров, Налеты, Раскованный голос, До четырех, Осатаневшим и т.д. и т.д. — Раскованный голос кажется мне le moins mauvais²...»

Заглавие для книги выбрал Бобров. Взятое из стихотворения «Петербург», оно передавало рвущую преграды смелость гения. Книга вышла в конце 1916 года, когда Пастернак уже снова уехал, на этот раз в Прикамье, конторщиком на заводах в Тихих горах. Главной достопримечательностью здесь была река. Борис писал оттуда:

¹ Gradus ad Parnassum — ступень к Парнасу (лат.).

² le moins mauvais — наименее неприемлемо (фр.).

«...здесь так спокойно и ясно, что страшно просто! А Кама какая. Со дня приезда в Казань до нынешнего — ясные солнечные погоды, теплая безоблачность...»

* * *

С тех пор стал над недрами парка сдвигаться
Суровый, листву леденивший октябрь.
Зарями ковался конец навигации,
Спирало гортань, и ломило в локтях.

Не стало туманов. Забыли про пасмурность.
Часами смеркалось. Сквозь все вечера
Открылся в жару, в лихорадке и насморке,
Больной горизонт — и дворы озирали.

И стынула кровь. Но, казалось, не стынут
Пруды, и, казалось, с последних погод
Не движутся дни, и, казалось, вынут
Из мира прозрачный, как звук, небосвод.

И стало видеть так далеко, так трудно
Дышать, и так больно глядеть, и такой
Покой разлился, и настолько безлюдный,
Настолько беспмятно звонкий покой!

1916

* * *

Потели стекла двери на балкон.
Их заслонял заметно-зимний фикус.
Сиял графин. С недопитым глотком
Вставали вы, веселая навывказ, —

Смеркалась даль, — спокойная на вид, —
И дуло в щели, — праведница ликом, —
И день сгорал, давно остановив
Часы и кровь, в мучительно великом

Просторе долго, без конца горев
На остриях скворешниц и дерев,
В осколках тонких ледяных пластинок,
По пустырям и на ковре в гостиной.

1916

К стихам из книги «Поверх барьеров» Пастернак относился как к поискам средств выражения и писал родителям:

«...Сейчас во всех сферах творчества нужно писать только этюды, для себя, с технической целью и рядом с этим накапливать такой опыт, который лишен эфемерности и случайности...»

* * *

«...Время и общность влияний роднили меня с Маяковским. У нас имелись совпадения. Я их заметил. Я понимал, что если не сделать чего-то с собою, они в будущем участвуют... Не умея назвать этого, я решил отказаться от того, что к ним приводило. Я отказался от романтической манеры. Так получилась неромантическая поэтика «Поверх барьеров»...»

*Борис Пастернак.
Из повести «Охранная грамота»*

Положительными достижениями нового стиля стали «объективный тематизм и мгновенная, рисующая движение живописность». Эти качества достигались новаторскими приемами, родственными современной живописи, подчеркнутой яркостью, разложением формы.

ЗИМНЕЕ НЕБО

Цельною льдиной из дымности вынут
Ставший с неделю звездный поток.
Клуб конькобежцев вверх опрокинут.
Чокается со звонкою ночью каток.

Реже-реже-ре-же ступай, конькобежец,
В беге ссекая шаг свысока.
На повороте созвездьем врежется
В небо Норвегии скрежет конька.

Воздух железом к ночи прикован,
О, конькобежцы! Там — всё равно,
Что, как орбиты змеи очковой,
Ночь на земле, и как кость домино;

Что языком обомлевшей лягавой
Месяц к скобе примерзает; что рты,
Как у фальшивомонетчиков, — лавой
Дух захватившего льда налиты¹.

<1915>

¹ По «Русской правде» Ярослава Мудрого наказанием для фальшивомонетчиков было заливание им рта расплавленным оловом.

ДУША

О вольноотпущенница, если вспомнится,
О, если забудется, пленница лет.
По мнению многих, душа и паломница,
По-моему — тень без особых примет.

О, в камне стиха, даже если ты канула,
Утопленница, даже если — в пыли,
Ты бьешься, как билась княжна Тараканова,
Когда февралем залило равелин¹.

О внéдренная! Хлопоча об амнистии,
Кляня времена, как клянут сторожей,
Стучатся опавшие годы, как листья,
В садовую изгородь календарей.

<1915>

РАСКОВАННЫЙ ГОЛОС

В шалящую полночь площадь,
В оплошавшую белую бездну
Незримою ими — «Извозчик!»
Низринуть с подъезда. С подъезда

Столкнуть в воспаленную полночь
И слышать сквозь темные спай

¹ Имеется в виду картина К. Д. Флавицкого (1830 — 1866), изображающая претендентку на русский престол Елизавету Тараканову в Петропавловской крепости во время наводнения 1775 года.

Ее поцелуев — «На помощь!»
Мой голос зовет, утопая.

И видеть, как в единоборстве
С метелью, с лютейшей из лютен,
Он — этот мой голос — на черствой
Узде выплывает из мути...

<1915>

* * *

Я понял жизни цель и чту
Ту цель как цель, и эта цель —
Признать, что мне немоготу
Мириться с тем, что есть апрель.

Что дни — кузнечные мехи
И что растекся полосой
От ели к ели, от ольхи
К ольхе, железный и косой,

И жидкий, и в снега дорог,
Как уголь в пальцы кузнеца,
С шипеньем впившийся поток
Зари без края и конца.

Что в бёрковец¹ церковный зык,
Что взят звонарь в весовщики,
Что от капли, от слезы
И от поста болят виски.

1915

¹ Бёрковец — мера веса в 160 килограмм.

СТРИЖИ

Нет сил никаких у вечерних стрижей
Сдержать голубую прохладу.
Она прорвалась из горластых грудей
И льется, и нет с нею сладу.

И нет у вечерних стрижей ничего,
Что б там, наверху, задержало
Витийственный возглас их: о торжество,
Смотрите, земля убежала!

Как белым ключом закипая в котле,
Уходит бранчливая влага, —
Смотрите, смотрите — нет места земле
От края небес до оврага.

<1915>

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

За окнами давка, толпится листва,
И палое небо с дорог не подобрано.
Всё стихло. Но что это было сперва!
Теперь разговор уж не тот и по-доброму.

Сначала всё опрометью, вразноряд
Ввалилось в ограду деревья развенчивать,
И по́пранным парком из ливня — под град,
Потом от сараев — к террасе бревенчатой.

Теперь не надышишься крепью густой.
А то, что у тополя жилы полопались, —
Так воздух садовый, как соды настой,
Шипучкой играет от горечи тополя.

Со стекол балконных, как с бедер и спин
Озябших купальщиц, — ручьями испарина.
Сверкает клубники мороженный клин,
И градинки стелются солью поваренной.

Вот луч, покатайся с паутины, залег
В крапиве, но кажется, это ненадолго,
И миг недалек, как его уголек
В кустах разожжется и выдует радугу.

1915, 1928

ИМПРОВИЗАЦИЯ

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот.
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.

И было темно. И это был пруд
И волны. — И птиц из породы люблю вас,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливые, черные, крепкие клювы.

И это был пруд. И было темно.
Пылали кубышки с полуночным дегтем.
И было волною обглодано дно
У лодки. И грызлись птицы у локтя.

И ночь полоскалась в гортанях запруд.
Казалось, покамест птенец не накормлен,
И самки скорей умертвят, чем умрут
Рулады в крикливом, искривленном горле.

1915

ИЗ ПОЭМЫ (Отрывок)

Я тоже любил, и дыхание
Бессонницы раннею ранью
Из парка спускалось в овраг, и впотьмах
Выпархивало на архипелаг
Полян, утопавших в лохматом тумане,
В полыни и мяте и перепелах.
И тут тяжелел обожанья размах,
Хмелел, как крыло, обожженное дробью,
И бухался в воздух, и падал в ознобе,
И располагался росой на полях.

А там и рассвет занимался. До двух
Несметного неба мигали богатства,
Но вот петухи начинали пугаться
Потемок и силились скрыть перепуг,
Но в глотках рвались холостые фугасы,
И страх фистулой голосил от потуг,
И гасли стожары, и, как по заказу,
С лицом пучеглазого свечегаса
Показывался на опушке пастух

¹Воспоминание о любви к Иде Высоцкой и рассвете в Марбурге, описанном в стихотворном наброске 1912 года:

И зыбью обмелевшиз звезд
Несло к утру.
Распутывали пастухи
Сырых свирелей стоп,
И где-то клали петухи
Земной поклон.

Я тоже любил, и она пока еще
Жива, может стать. Время пройдет,
И что-то большое, как осень, однажды
(Не завтра, быть может, так позже

когда-нибудь)

Зажжется над жизнью, как зарево, сжалившись
Над чашей. Над глупостью луж, изнывающих
По-жабы от жажды. Над заячьей дрожью
Лужаек, с ушами ушитых в рогожу
Листвы прошлогдней. Над шумом, похожим
На ложный прибой прожитого. Я тоже
Любил, и я знаю: как мокрые пожни
От века положены году в подножье,
Так каждому сердце кладется любовью
Знобящая новость миров в изголовье.

Я тоже любил, и она жива еще.
Всё так же, катясь в ту начальную рань,
Стоят времена, исчезая за краешком
Мгновенья. Всё так же тонка эта грань.
По-прежнему давнее кажется давешним.
По-прежнему, схлынувши с лиц очевидцев,
Безумствует быль, притворяясь незнающей,
Что больше она уж у нас не жилица.
И мыслимо это? Так значит, и впрямь
Всю жизнь удаляется, а не длится
Любовь, удивленья мгновенная дань?

1916, 1928

* * *

«...Когда в марте 1917 года на заводах узнали о разразившейся в Петербурге революции, я поехал в Москву... Из Тихих гор гнали в кибитке, крытом возке на полозьях, вечер, ночь напролет и часть следующего дня... Три лошади, запряженные гусем, одна другой в затылок, мчали возок, то одна, то другая сбиваясь в сторону и выходя из ряда... Ямской стан в лесу, совершенно как в сказках о разбойниках. Огонек в избе. Шумит самовар, и тикают часы... И опять гон всюю, свист полозьев и дремота и сон...»

*Борис Пастернак.
Из очерка «Люди и положения»*





Казалось альфой и омегой —
Мы с жизнью на один покрой;
И круглый год, в снегу, без снега,
Она жила как alter ego,
И я назвал ее сестрой.





Елена Виноград.



Приехав в Москву, Пастернак снова снял ту маленькую комнату в Лебяжьем переулке с видом на Кремль, воспоминание о которой связывалось у него с творчески счастливым 1913 годом. Таким же, он надеялся, будет и теперешний, 1917-й. Он возобновил свои знакомства с друзьями. Вскоре по приезде к нему пришла в гости Елена Виноград. Она была двоюродной сестрой друга его детства Александра Штиха, они были знакомы уже много лет.

ИЗ СУЕВЕРЬЯ

Коробка с красным померанцем¹ —

Моя каморка.

О, не об номера ж мараться

По гроб, до морга!

Я поселился здесь вторично

Из суеверья.

Обоев цвет, как дуб, коричнев,

И — пенье двери.

¹ Сравнение маленькой комнаты со спичечным коробком, на котором изображался красный померанец, горький цитрус.

Из рук не выпускал защелки¹,
Ты вырывалась,
И чуб касался чудной челки,
И губы — фиалок.

О неженка, во имя прежних
И в этот раз твой
Наряд щебечет, как подснежник
Апрелю: «Здравствуй!»

Грех думать — ты не из весталок:
Вошла со стулом,
Как с полки, жизнь мою достала
И пыль обдула.

1917

Елене Виноград исполнилось 20 лет, она училась на Высших женских курсах. Недавно она потеряла жениха, он погиб на войне. Желание утешить ее в горе толкало Пастернака к ней. Она очень любила лес и природу. Их совместные прогулки описаны в стихах Пастернака, давших начало книге «Сестра — моя жизнь».

¹ Елена навсегда запомнила то платье («наряд»), в котором тогда была. Она писала нам: «Я подошла к двери, собираясь выйти, но он держал дверь и улыбался, так сблизились чуб и челка. А «ты вырывалась» сказано слишком сильно, ведь Борис Леонидович по сути своей был не способен на малейшее насилие, даже на такое, чтобы обнять девушку, если она этого не хотела. Я просто сказала с укоризной: «Боря», и дверь тут же открылась».

ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

Грудь под поцелуи, как под рукомойник!
Ведь не век, не сряду, лето бьет ключом.
Ведь не ночь за ночью низкий рев гармоник
Подымаем с пыли, топчем и влечем.

Я слышал про старость. Страшны прорицанья!
Рук к звездám не вскинет ни один бурун.
Говорят — не веришь. На лугах лица нет,
У прудов нет сердца, Бога нет в бору.

Расколышь же душу! Всю сегодня выпень.
Это полдень мира. Где глаза твои?
Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень
Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.

Здесь пресеклись рельсы городских трамваев.
Дальше служат сосны, дальше им нельзя.
Дальше — воскресенье. Ветки отрывая,
Разбежится просек, по траве скользя.

Просевая полдень, Троицын день, гулянье,
Просит роща верить: мир всегда таков.
Так задуман чащей, так внушен поляне,
Так на нас, на ситцы пролит с облаков.

1917

* * *

«...В это знаменитое лето 1917 года, в промежутке между двумя революционными сроками, казалось, вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды. Воздух из конца в конец был

охвачен горячим тысячеверстным вдохновением и казался личностью с именем, казался ясновидящим и одушевленным... Это ощущение повседневности, на каждом шагу наблюдаемой и в то же время становящейся историей, это чувство вечности, сошедшей на землю и всюду попадающей на глаза, это сказочное настроение попытался я передать в тогда написанной по личному поводу книге лирики «Сестра моя — жизнь»...»

*Борис Пастернак.
Из фрагмента «Сестра моя — жизнь»*

ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ

Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил
Лак экипажей, деревьям трепет.
Под луною на выкате гуськом скрипачи
Пробираются к театру. Граждане, в цепи!¹

Лужи на камне. Как полное слез
Горло — глубокие розы, в жгучих
Влажных алмазах. Мокрый нахлёт
Счастья — на них, на ресницах, на тучах.

Впервые луна эти цепи и трепет
Платьев и власть восхищенных уст
Гипсовую эпопеею лепит,
Лепит никем не лепленный бюст.

¹ Содержанием стихотворения стал почный митинг на Театральной площади по случаю приезда военного министра Временного правительства А.Ф. Керенского, состоявшийся 27 мая 1917 года, на который попали Пастернак с Еленой Виноград.

В чьем это сердце вся кровь его быстро
Хлынула к славе, схлынув со щек?
Вон она бьется: руки министра
Рты и аорты сжали в пучок.

Это не ночь, не дождь и не хором
Рвущееся: «Керенский, ура!»,
Это слепящий выход на форум
Из катакомб, безысходных вчера.

Это не розы, не рты, не ропот
Толп, это здесь, пред театром — прибой
Заколебавшейся ночи Европы,
Гордой на наших асфальтах собой.

1917

ПЛАЧУЩИЙ САД

Ужасный! — Капнет и вслушается:
Всё он ли один на свете
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель.

Но давится внятно от тягости
Отеков — земля ноздревая,
И слышно: далеко, как в августе,
Полуночь в полях назревает.

Ни звука. И нет соглядатаев.
В пустынности удостоверясь,
Берется за старое — скатывается
По кровле, за желоб и через.

К губам поднесу и прислушаюсь:

Всё я ли один на свете, —
Готовый навзрыд при случае, —
Или есть свидетель.

Но тишь. И листок не шелохнется.

Ни признака зги, кроме жутких
Глотков и плескания в шлепанцах,
И вздохов и слез в промежутке.

1917

ДЕВОЧКА

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана.

Из сада, с качелей, с бухты-баракхты

Вбегают ветка в трюмо!

Огромная, близкая, с каплей смарагда

На кончике кисти прямой.

Сад застлан, пропал за ее беспорядком,

За бьющей в лицо кутерьмой.

Родная, громадная, с сад, а характером —

Сестра! Второе трюмо!

Но вот эту ветку вносят в рюмке

И ставят к раме трюмо.

Кто это, гадает, глаза мне рюмит

Тюремной людской дремóй?

1917

* * *

Ты в ветре, веткой пробуящем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробышком
Сиреневая ветвь!

У капель — тяжесть запонок,
И сад слепит, как плес,
Обрызганный, закапанный
Мильоном синих слез.

Моей тоскою вынянчен
И от тебя в шипах
Он о́жил ночью нынешней,
Забормотал, запах.

Всю ночь в окошко торкался,
И ставень дребезжал.
Вдруг дух сырой прогорклости
По платью пробежал.

Разбужен чудным перечнем
Тех прозвищ и времен,
Обводит день теперешний
Глазами анемон.

1917

* * *

Душистою веткою машучи,
Впивая впотьмах это благо,
Бежала на чашечку с чашечки
Грозой одуренная влага.

На чашечку с чашечки скатываясь,
Скользнула по двум, — и в обеих
Огромною каплей агатовою
Повисла, сверкает, робеет.

Пусть ветер, по таволге веющий,
Ту капельку мучит и плющит.
Цела, не дробится, — их две еще
Целующихся и пьющих.

Смеются и вырваться силятся
И выпрямиться, как прежде,
Да капле из рылец не вылиться
И не разлучатся, хоть режьте¹.

1917

В июне 1917 года Елена Виноград уехала в Саратовскую губернию, в город Балашов, составлять списки для выборов в органы местного самоуправления земства.

«Уезжая, она оставила вместо себя заместительницу», — написал Пастернак объяснение к стихотворению, посвященному фотографии улыбающейся Елены.

ЗАМЕСТИТЕЛЬНИЦА

Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,
У которой суставы в запястьях хрустят,
Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,
У которой гостят и гостят и грустят.

¹ Первоначальное название стихотворения «Поцелуй».

Что от треска колод, от бравады Ракочи¹,
От стекляшек в гостиной, от стекла и гостей
По пианино в огне пробежится и вскочит —
От розеток, костяшек, и роз, и костей.

Чтоб прическу ослабив, и чайный и шалый,
Зачаженный бутон заколов за кушак,
Провальсировать к славе, шутя, полушалок
Закусивши, как муку, и еле дыша.

Чтобы, комкая корку рукой, мандарина
Холодящие дольки глотать, торопясь
В опоясанный люстрой, позади, за гардиной,
Зал, испариной вальса запахший опять.

1917

Через некоторое время Пастернак поехал к Елене и провел с ней в Романовке четыре «громдных летних дня». Незабываемое впечатление оставила прогулка вдвоем ночью по степи. Скрытые ночным туманом небо и земля по мере его рассеивания приобретали более четкие очертания, мир создавался заново, у них на глазах. Вспоминались первые слова Книги Бытия: «В начале сотворил Бог небо и землю».

СТЕПЬ

Как были те выходы в тишь хороши!
Безбрежная степь, как марина.
Вздыхает ковыль, шуршат мураши,
И плавает плач комариный.

¹ Известный Ракочи-марш Ф. Листа.

Стога с облаками построились в цепь
И гаснут, вулкан на вулкане.
Примолкла и взмокла безбрежная степь,
Колеблет, относит, толкает.

Туман отовсюду нас морем обстиг,
В волчцах волоchaft за чулками,
И чудно нам степью, как морем, брести —
Колеблет, относит, толкает.

Не стог ли в тумане? Кто поймет?
Не наш ли омет? Доходим. — Он.
— Нашли! Он самый и есть. — Омет,
Туман и степь с четырех сторон.

И Млечный Путь стороной ведет
На Керчь, как шлях, скотом пропылен.
Зайти за хаты, и дух займет:
Открыт, открыт с четырех сторон.

Туман снотворен, ковыль как мед.
Ковыль всем Млечным Путем рассорён.
Туман разойдется, и ночь обоймет
Омет и степь с четырех сторон.

Тенистая полночь стоит у пути,
На шлях навалилась звездáми,
И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мирозданья.

Когда еще звезды так низко росли,
И полночь в бурьян окунало,
Пылал и пугался намокший муслин,
Льнул, жался и жаждал финала?

Пусть степь нас рассудит и ночь разрешит.
Когда, когда не: — В Начале
Плыл Плач Комариный, Ползли Мураши,
Волчцы по Чулкам Торчали?

Закрой их, любимая! Запорошит!
Вся степь как до грехопаденья:
Вся — миром объята, вся — как парашют,
Вся — дыблящееся виденье!

1917

ДУШНАЯ НОЧЬ

Накрапывало, — но не гнулись
И травы в грозовом мешке.
Лишь пыль глотала дождь в пилюлях,
Железо в тихом порошке.

Селенье не ждало целенья,
Был мак, как обморок, глубок,
И рожь горела в воспаленьи,
И в лихорадке бредил Бог.

В осиротелой и бессонной,
Сырой, всемирной широте
С постов спасались бегством стоны,
Но вихрь, зарывшись, коротел.

За ними в бегстве слепли следом
Косые капли. У плетня
Меж мокрых веток с ветром бледным
Шел спор. Я замер. Про меня!

Я чувствовал, он будет вечен,
Ужасный, говорящий сад.
Еще я с улицы за речью
Кустов и ставней — не замечен;

Заметят — некуда назад:
Навек, навек заговорят.

1917

ЕЩЕ БОЛЕЕ ДУШНЫЙ РАССВЕТ

Всё утро голубь ворковал
У вас в окне.
На желобах,
Как рукава сырых рубах,
Мертвели ветки.
Накрапывало. Налегке
Шли пыльным рынком тучи,
Тоску на рыночном лотке,
Боюсь, мою
Баюча.
Я умолял их перестать.
Казалось — перестанут.
Рассвет был сер, как спор в кустах,
Как говор арестантов.

Я умолял приблизить час,
Когда за окнами у вас
Нагорным ледником
Бушует умывальный таз
И песни колотой куски,

Жар наспанной щеки и лоб
В стекло горячее, как лед,
На подзеркальник льет.
Но высь за говором под стяг
Идущих туч
Не слышала мольбы
В запорошённой тишине,
Намокшей, как шинель,
Как пыльный отзвук молотьбы,
Как громкий спор в кустах.

Я их просил —
Не мучьте!
Не спится.
Но — моросило, и топчась
Шли пыльным рынком тучи,
Как рекруты, за хутор, поутру.
Брели не час, не век,
Как пленные австрийцы,
Как тихий хрип,
Как хрип:
«Испить,
Сестрица».

1917

* * *

Дик прием был, дик приход,
Еле ноги уволок.
Как воды набрала в рот,
Взор уперла в потолок.

Ты молчала. Ни за кем
Не рвался с такой тугой.
Если губы на замке,
Вешай с улицы другой.

Нет, не на дверь, не в пробой,
Если на сердце запрет,
Но на весь одной тобой
Немутимо белый свет.

Чтобы знал, как балки брус
По-над лбом проволоку,
Что в глаза твои упрюсь,
В непрорубную тоску.

Чтоб бежал с землей знакомств,
Видев издали, с пути
Гарь на солнце под замком,
Гниль на веснах взаперти.

Не вводи души в обман,
Оглуши, завесь, забей.
Пропитала, как туман,
Грудю белых отрубей.

Если душным полднем желт
Мышью пахнувший овин,
Обличи, скажи, что лжет
Лжесвидетельство любви.

1917

* * *

Попытка душу разлучить
С тобой, как жалоба смычка,
Еще мучительно звучит
В названьях Ржакса и Мучкап¹.

Я их, как будто это ты,
Как будто это ты сама,
Люблю всей силою тщеты
До помрачения ума.

Как ночь, уставшую сиять,
Как то, что в астме — кисея,
Как то, что даже антресоль
При виде плеч твоих трясло.

Чей шепот реял на брезгу?
О, мой ли? Нет, душою — твой,
Он улетучивался с губ
Воздушной капли спиртовой.

Как в неге прояснялась мысль!
Безукоризненно. Как стон.
Как пеной, в полночь, с трех сторон
Внезапно озаренный мыс.

1917

В то лето Пастернак пережил «чудо становления книги», как он называл впоследствии то состояние поэтического подъема, когда одно стихо-

¹ Железнодорожные станции, соседние с Романовкой.

творение непосредственно следовало за другим, как развитие мелодии, слагаясь в циклы, или главы, из которых составлялась книга. Стихов было написано гораздо больше, чем вошло в книгу, они подвергались строгому отбору. Он никогда не считал отдельное стихотворение чем-то ценным, в его глазах смысл представляла собой только книга стихов, создающая особый мир, со своим воздухом, небом и землей. Стихотворная книга, по его мнению, принципиально отличается от сборника, включающего написанные по разным поводам вещи, даже объединенные временной близостью, но лишенные единства взгляда, чувства и дыхания.

* * *

«...Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести — и больше ничего... Без нее духовный род не имел бы продолжения. Он перевелся бы. Ее не было у обезьян.

Ее писали. Она росла, набиралась ума, видала виды, — и вот она выросла и — такова. В том, что ее видно насквозь, виновата не она. Таков уклад духовной вселенной.

А недавно думали, что сцены в книге — инсценировки. Это — заблуждение. Зачем они ей? Забыли, что единственное, что в нашей власти, это суметь не исказить голоса жизни, звучащего в нас.

Неумение найти и сказать правду — недостаток, который никаким умением говорить неправду не по-

крыть. Книга — живое существо. Она в памяти и в полном рассудке: картины и сцены — это то, что она вынесла из прошлого, запомнила и не согласна забыть...

Ни у какой истинной книги нет первой страницы. Как лесной шум, она зарождается Бог весть где, и растет, и катится, будя заповедные дебри, и вдруг, в самый темный, ошеломительный и панический миг, заговаривает всеми вершинами сразу, докатившись...»

*Борис Пастернак.
Из статьи «Несколько положений». 1918*

СЛОЖА ВЕСЛА

Лодка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины — о, погоди,
Это ведь может со всяким случиться!

Этим ведь в песне тешатся все.
Это ведь значит — пепел сиреневый.
Роскошь крошеной ромашки в росе,
Губы и губы на звезды выменивать!

Это ведь значит — обнять небосвод,
Руки сплести вокруг Геракла громадного,
Это ведь значит — века напролет
Ночи на шелканье славок проматывать!

1917

НЕ ТРОГАТЬ

«Не трогать, свежевыкрашен», —
 Душа не береглась,
И память — в пятнах икр и щек,
 И рук, и губ, и глаз.

Я больше всех удач и бед
 За то тебя любил,
Что пожелтый белый свет
 С тобой — белей белил.

И мгла моя, мой друг, божусь,
 Он станет как-нибудь
Белей, чем бред, чем абажур,
 Чем белый бинт на лбу!

1917

* * *

Ты так играла эту роль!
Я забывал, что сам — суфлер!
Что будешь петь и во второй,
Кто б первой не совлек.

Вдоль облаков шла лодка. Вдоль
Лугами кошенных кормов.
Ты так играла эту роль,
Как лепет шлюз — кормой!

И низко рея на руле
Касаткой об одном крыле,
Ты так! — ты лучше всех ролей
Играла эту роль.

1917

КАК У НИХ

Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.
Подыметса, шелохнется ли сом, —
Оглушены. Не слышат. Далеки.

Очам в снопах, как кровлям, тяжело.
Как угли, блещут оба очага.
Лицо лазури пышет над челом
Недышащей подруги в бочагах,
Недышащей питомицы осок.

То ветер смех люцерны вдоль высот,
Как поцелуй воздушный, пронесет,
То, княженикой с топи угощен,
Ползет и губы пачкает хвощом
И треплет речку веткой по щеке,
То киснет и хмелеет в тростнике.

У окуня ли ёкнул плавники, —
Бездонный день — огромен и пунцов,
Поднос Шелони — черен и свинцов.
Не свести концов и не поднять руки...

Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.

1917

Но ни стихи, ни письма Пастернака не утешали Елену Виноград, она не могла забыть гибели жениха и найти для себя место в жизни. Она писала Борису:

«...На земле этой нет Сережи. Значит, от земли этой я брать ничего не стану. Буду ждать другой земли, где будет он, и там, начав жизнь несломанной, я стану искать счастья...

...Я несправедливо отношусь к Вам — это верно. Мне моя боль кажется больнее Вашей — это несправедливо, но я чувствую, что я права. Вы неизмеримо выше меня. Когда Вы страдаете, с Вами страдает и природа, она не покидает Вас, так же как и жизнь, и смысл, Бог. Для меня же жизнь и природа в это время не существуют. Они где-то далеко, молчат и мертвы...»

* * *

Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грóзу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.

Что в мае, когда поездов расписание
Камышинской веткой читаешь в купе,
Оно грандиозней Святого писанья,
И черных от пыли и бурь канаве.

Что только нарвется, разлаявшись, тормоз,
На мирных сельчан в захолустном вине,
С матрацев глядят, не моя ли платформа,
И солнце, садясь, соболезнает мне.

И в третий плеснув, уплывает звоночек
 Сплошным извиненьем: жалею, не здесь.
 Под шторку несет обгорающей ночью,
 И рушится степь со ступенек к звезде.

Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
 И фата-морганой любимая спит
 Тем часом, как сердце, плеща по площадкам,
 Вагонными дверцами сыплет в степи.

1917

Пастернак снова поехал к Елене. Начинался сентябрь. Теперь она жила в уездном городе Балашове. Елена Александровна до конца жизни вспоминала того медника около дома, где она жила, и юродивого на базаре, которых упоминал Пастернак в своем стихотворении.

БАЛАШОВ

По будням медник подле вас
 Клепал, лудил, паял,
 А впрочем — масла подливал
 В огонь, как пай к паям.

И без того душило грудь,
 И песнь небес: «Твоя, твоя!»
 И без того лилась в жару
 В вагон, на саквояж.

Сквозь дождик сеялся хорал
 На гроб и в шляпы молокан,

А впрочем — ельник подбирал
К прощальным облакам.

И без того взошел, зашел
В больной душе, щемя, мечась,
Большой, как солнце, Балашов
В осенний ранний час.

Лазурью июльской облит,
Базар синел и дребезжал.
Юродствующий инвалид
Пиле, гундося, подражал.

Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь?
В природе лип, в природе плит,
В природе лета было жечь.

1917

* * *

Весна была просто тобой,
И лето — с грехом пополам,
Но осень, но этот позор голубой
Обоев, и войлок, и хлам!

Разбитую клячу ведут на махан¹,
И ноздри с коротким дыханьем
Заслушались мокрой ромашки и мха,
А то и конины в духане.

В прозрачность заплаканных дней целиком
Губами и глаз полыханьем

¹ Живодерня.

Впиваешься, как в помутнелый флакон
С невыдохшимися духами.

Не спорить, а спать. Не оспаривать,
А спать. Не распахивать наспех
Окна, где в беспамятных заревах
Июль, разгораясь, как яспис,
Расплавливал стекла и спаривал
Тех самых пунцовых стрекоз,
Которые нынче на брачных
Брусах — мертвей и прозрачней
Осыпавшихся папирос.

Как в сумерки сонно и зябко
Окошко! Сухой купорос.
На донышке склянки — козявка
И гильзы задохшихся ос.

Как с севера дует! Как щупло
Нахохлилась стужа! О вихрь,
Общупай все глуби и дупла,
Найди мою песню в живых!

1917

* * *

Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь?

Давай ронять слова,
Как сад — янтарь и cedру,
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва.

Не надо толковать,
Зачем так церемонно
Мареной и лимоном
Обрызнута листва.

Кто иглы заслезил
И хлынул через жерди
На ноты к этажерке
Сквозь шлюзы жалюзи.

Кто коврик за дверьми
Рябиной иссурьмил,
Рядном сквозных, красивых
Трепещущих курсивов.

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку

Кленового листа
И с дней экклезиаста¹.
Не покидал поста
За теской алебаstra?

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?
Чтоб мелкий лист раки
С седых кариатид
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?

¹ Экклезиаст — одна из книг Библии. «Все Он сделал прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делал, от начала до конца».

Ты спросишь, кто велит?
— Всесильный Бог деталей
Всесильный Бог любви
Ягайлов и Ядвиг¹.

Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя — подробна.

1917

ПОСЛЕСЛОВЬЕ

Нет, не я вам печаль причинил.
Я не стоил забвения родины.
Это солнце горело на каплях чернил,
Как в кистях запыленной смородины.

И в крови моих мыслей и писем
Завелась кошениль.
Этот пурпур червца от меня независим.
Нет, не я вам печаль причинил.

Это вечер из пыли лепился и, пышучи,
Целовал вас, задохшись в охре, пылью.
Это тени вам щупали пульс. Это, вышедши
За плетень, вы полям подставляли лицо
И пылали, плывя, по олифе калиток,
Полумраком, золою и маком залитых.

¹ Великий князь Литовский Ягайло и королева Польская Ядвига своим браком в 1386 году объединили два государства.

Это — круглое лето, горев в ярлыках
По прудам, как багаж солнцепеком
заляпанных,
Сургучом опечатало грудь бурлака
И сожгло ваши платья и шляпы.

Это ваши ресницы слипались от яркости,
Это диск одичалый, рога истесав
Об ограды, бодаясь, крушил палисад.
Это — запад, карбункулом вам в волоса
Залетев и гудя, угасал в полчаса,
Осыпая багрянец с малины и бархатцев.
Нет, не я, это — вы, это ваша краса.

1917

* * *

Здесь прошелся загадки таинственный ноготь.
— Поздно, выплюсь, чем свет перечту и пойму.
А пока не разбудят, любимую трогать
Так, как мне, не дано никому.

Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
Трогал так, как трагедией трогают зал.
Поцелуй был, как лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом раздражалась гроза.

Пил, как птицы. Тянул до потери сознания,
Звезды долго горлом текут в пищевод,
Соловьи же заводят глаза с содроганьем,
Осушая по капле ночной небосвод.

1917

27 октября 1917 года в Москве было установлено военное положение, и в воскресенье 29-го числа началась орудийная пальба. На улицах стали строить баррикады и рыть окопы. Такой окоп был вырыт и в Сивцевом Вражке, недалеко от дома, где снимал комнату Борис Пастернак. Его брат Александр в своих воспоминаниях описал увиденные из окон дома на Волхонке отряды юнкеров, которые избрали себе укрытием парапеты сквера у храма Христа Спасителя. Борис успел прийти на Волхонку в момент некоторого затишья и застрял на три дня. Дом простреливался с двух сторон. Через стекла и дерево рам пробивались отдельные пули.

«...От невообразимого шума и гама, в который вмешивался треск пулемета и густой бас канонады, мы сразу оглохли, будто пробкой заткнуло уши. Долго выстоять было трудно, хотя страха я не ощутил никакого: стрельба шла перекидным огнем через двор; но общая картина звукового пейзажа была такова, что больно было ушам и голове; визг металла, форменным образом режущего воздух, был высок и свистящ — невозможно было находиться в этом аду... Так длилось долго, казалось — вечность! Выходить на улицу нельзя было и думать.

Телефон молчал, лампочки не горели и не светили, а только изредка вдруг самоосвещались красным полусветом, дрожа и только на доли минуты...»

Но когда на третий день вдруг прекратился обстрел, тишина показалась еще более неестественной и страшной и так действовала на нервы, что

люди боялись ее нарушить разговором. Борис подошел к пианино, но тотчас отошел прочь, увидев, какой ужас его намерение вызвало в брате. Он вскоре ушел к себе.

«...В не убравшуюся месяцами столовую смотрели с Сивцева Вражка зимние сумерки, террор, крыши и деревья Приарбатья. Хозяин квартиры, бородатый газетный работник чрезвычайной рассеянности и добродушия, производил впечатление холостяка, хотя имел семью в Оренбургской губернии... При наступлении темноты постовые открывали вдохновенную пальбу из наганов. Они стреляли то пачками, то отдельными редкими вопрошаньями в ночь, полными жалкой безотзывной смертоносности, и... им нельзя было попасть в такт и много гибло от шальных пуль...»

*Борис Пастернак.
Из повести «Охранная грамота»*

* * *

Густая слякоть клейковиной
Полощет улиц колею:
К виновному прилип невинный,
И день, и дождь, и даль в клею.

Ненастье настигает скаты,
Гремит железом пласт о пласт,
Свергает власти, рвет плакаты,
Натравливает класс на класс.

Костры. Пикеты. Мгла. Поэты
Уже печатают тюки
Стихов потомкам на пакеты
И нам под кету и пайки.

Тогда, как вечная случайность,
Подкрадывается зима
Под окна прачечных и чайных
И прячет хлеб по закромам.

Коротким днем, как коркой сыра,
Играют крысы на софе
И, протаскивая по всей квартире,
Укатывают за буфет.

На смену спорам оборонцев —
Как север, ровный Совнарком,
Безбрежный снег, и ночь и солнце,
С утра глядящее сморчком.

Пониклый день, серье и быдло,
Обидных выдач жалкий цикл,
По виду — жизнь для мотоциклов
И обданных повидлой игл.

Для галок и красногвардейцев,
Под черной кожи мокрый хром.
Какой еще заре зардеться
При взгляде на такой разгром?

На самом деле ж это — небо
Намыкавшейся всласть зимы,

По всем окопам и совдепам
За хлеб восставшей и за мир.

На самом деле это где-то
Задетый ветром с моря рой
Горящих глаз Петросовета,
Вперённых в небывалый строй.

Да, это то, за что боролись.
У них в руках — метеорит.
И будь он даже пуст, как полюс,
Спасибо им, что он открыт.

Однажды мы гостили в сфере
Преданий. Нас перевели
На четверть круга против зверя.
Мы — первая любовь земли.

ВДОХНОВЕНИЕ

По заборам бегут амбразуры,
Образуются бреши в стене,
Когда ночь оглашается фуруй
Повестей, неизвестных весне.

Без клещей приближенье фургона
Вырывает из ниш костыли
Только гулом свершенных прогонов,
Подымающих пыль издали.

Этот грохот им слышен впервые.
Завтра, завтра понять я вам дам,

Как рвались из ворот мостовые,
Вылетая по жарким следам,
Как в росистую хвойную скорбкость
Скипидарной, как утро, струи
Погружали постройки свой корпус
И лицо окунал конвоир.

О, теперь и от лип не в секрете:
Город пуст по зарям оттого,
Что последний из смертных в карете
Под стихом и при нем часовой.

В то же утро, ушам не поверя,
Протереть не успевши очей,
Сколько бедных, истерзанных перьев
Рвется к окнам из рук рифмачей!¹

1921

После разгона Учредительного собрания, олицетворявшего надежды на установление в стране законности и порядка, страшным потрясением стало убийство в ночь с 7 на 8 января 1918 года в Мариинской больнице двух депутатов: министра Временного правительства А. И. Шингарева и государственного контролера Ф. Ф. Кокошкина.

¹ Здесь речь идет о чтении утренних газет, ежедневно заполняемых рифмованными прописями пробудившихся борзописцев. Это подтверждается в стихах из цикла «К Октябрьской годовщине» (1927), рисующих картины той осени.



Мутится мозг. Вот так? В палате?
В отсутствие сестер?
Ложились спать, снимали платье.
Курок упал и стер?

Кем были созданы матросы,
Кем город в пол-окна,
Кем ночь творцов; кем ночь отбросов,
Кем дух, кем имена?

Один ли Ты, с одною страстью,
Бессмертный, крепкий дух,
Надмирный, принимал участие
В творенье двух и двух?

Два этих — пара синих блузок.
Ничто. Кровоподтек.
Но если тем не «мир стал узок»,
Зачем их жить завлек?

Сарказм на Маркса. О, тупицы!
Явитесь в чем своем.
Блесните! Дайте нам упиться!
Чем? Кровью? — Мы не пьем.

Так вас не жизнь парить просила?
Не жизнь к верхам звала?
Пред срывом пухнут кровью жилы
В усилиях лжи и зла.

1918

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Как было хорошо дышать тобою в марте
И слышать на дворе, со снегом и хвоей,
На солнце, поутру, вне лиц, имен и партий,
Ломающее лед дыхание твое!

Казалось, облака несут, плывя на запад,
Народам со дворов, со снегом и хвоей,
Журчащий как ручьи, как солнце, сонный запах —
Все здешнее, всю грусть, все русское твое.

И теплая капель, буравя спозаранку
Песок у желобов, грачи и звон тепла
Гремели о тебе, о том, что иностранка,
Ты по сердцу себе приют у нас нашла.

Что эта изо всех великих революций
Светлейшая, не станет крови лить, что ей
И Кремль люб, и то, что чай тут пьют из блюда.
Как было хорошо дышать красой твоей!

Казалось, ночь свята, как копоть в катакомбах
В глубокой тишине последних дней поста.
Был слышен дерн и дром, но не был слышен Зомбарт¹.
И грудью всей дышал Социализм Христа.

Смеркалось тут... Меж тем свинец к вагонным дверцам
(Сиял апрельский день) — вдали, в чужих краях
Навешивался вспех ганноверцем, ландверцем.
Дышал локомотив. День пел, пчелой роясь.

¹ Вернер Зомбарт (1863—1941) — немецкий социолог и экономист.

А здесь стояла тишь, как в сердце катакомбы.
 Был слышен бой сердец. И в этой тишине
 Почудилось: вдали курьерский неся, пломбы
 Тряслись, и взвод курков мерещился стране.

Он — «С Богом, — кинул, сев;
и стал горланить: — К черту! —
Отчизну увидав: — Черт с ней, чего глядеть!
Мы у себя, эй жги, здесь Русь, да будет стерта!
Еще не все сплылось; лей рельсы из людей!

Лети на всех парах! Дыми, дави и мимо!
Покуда целы мы, покуда держит ось.
Здесь не чужбина нам, дави, здесь край родимый.
Здесь так знакомо все, дави, стесненья брось!»

Теперь ты — бунт. Теперь ты — топки полыханье.
И чад в котельной, где на головы котлов
Пред взрывом плещет ад Балтийскою лоханью
Людскую кровь, мозги и пьяный флотский блёв.

1918

* * *

«...Настала зима, какую именно предсказывали. Она еще не так пугала, как две наступившие вслед за нею, но была уже из их породы, темная, голодная и холодная, вся в ломке привычного и перестройке всех основ существования, вся в нечеловеческих усилиях уцепиться за ускользающую жизнь.

Их было три подряд, таких страшных зимы, одна за другой, и не все, что кажется теперь происшедшим

с семнадцатого на восемнадцатый год, случилось действительно тогда, а произошло, может стать, позже. Эти следовавшие друг за другом зимы слились вместе и трудно отличимы одна от другой.

Старая жизнь и молодой порядок еще не совпадали. Между ними не было ярой вражды, как через год, во время гражданской войны, но недоставало и связи. Это были стороны, расставленные отдельно, одна против другой, и не покрывавшие друг друга...»

Борис Пастернак.
Из романа «Доктор Живаго»

Весной 1918 года Елена Виноград вышла замуж за наследника текстильных мануфактур А.Н. Дороднова, чтобы успокоить мать, волновавшуюся за ее судьбу, и уехала с мужем в село Яковлевское Костромской губернии. Еще год тому назад Пастернак боялся подобного шага и старался удержать Елену от тривиальности такого поступка, от ненужной жертвы и писал:

Достатком, а там и пирами
И мебелью стиля жакоб
Иссушат, убьют темперамент,
Гудевший как ветвь жуком...

Забегая вперед, скажем, что брак Елены не был счастливым, а наследственные заводы ее мужа вскоре были национализированы.

Первым откликом на известие о замужестве Елены стало стихотворение:



Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельем,
У выписавшегося из больницы.

Где воздух пуст, как прерванный рассказ,
Оставленный звездой без продолженья
К недоумению тысяч шумных глаз,
Бездонных и лишенных выраженья.

1918

Согласие Елены на этот поспешный брак представлялось Пастернаку страшной победой мужской силы и соблазна обеспеченности над женской неискушенностью. Образ поверженной амазонки уподобляется в его стихотворении падению героини «Фауста» Гретхен:

МАРГАРИТА

Разрывая кусты на себе, как силок;
Маргаритиных стиснутых губ лиловей,
Горячей, чем глазной Маргаритин белок,
Бился, щелкал, царил и сиял соловей.

Он как запах от трав исходил. Он как ртуть
Очумелых дождей меж черемух висел.
Он кору одурял. Задыхаясь ко рту
Подступал. Оставался висеть на косе.

И, когда изумленной рукой проводя
По глазам, Маргарита влеклась к серебру,
То казалось, под каской ветвей и дождя
Повалилась без сил амазонка в бору.

И затылок с рукою в руке у него,
А другую назад заложила, где лег,
Где застрял, где повис ее шлем теневой,
Разрывая кусты на себе, как силок.

1919

* * *

Мне в сумерки ты всё — пансионеркою,
Всё — школьницей. Зима. Закат лесничим
В лесу часов. Лежу и жду, чтоб смерклося.
И вот — айда! Аукаемся, кличем.

А ночь, а ночь! Да это ж ад, дом ужасов!
Проведай ты, тебя б сюда пригнало!
Она — твой шаг, твой брак, твоё замужество,
И тяжелей дознаний трибунала.

Ты помнишь жизнь? Ты помнишь, стая горлинок
Летели хлопья грудью против гула.
Их вихрь крутил, кутя, валясь прожорливо
С лотков на снег, их до панелей гнуло!

Перебегала ты! Ведь он подсовывал
Ковром под нас салазки и кристаллы!
Ведь жизнь, как кровь из облака пунцового,
Пожаром вьюги озарясь, хлестала!

Движеньё, помнишь? Помнишь время? Лавочниц?
Палатки? Давку? За разменом денег

Холодных, звонких, — помнишь, помнишь давешних
Колоколов предпраздничных гуденье?

Увы, любовь! Да, это надо высказать!
Чем заменить тебя? Жирами? Бромом?
Как конский глаз, с подушек, жаркий, искоса
Гляжу, страшась бессонницы огромной.

Мне в сумерки ты будто всё с экзамена,
Всё — с выпуска. Чижи, мигрень, учебник.
Но по ночам! Как просят пить, как пламенны
Глаза капсюль и пузырьков лечебных!

1918 — 1919

Елена Александровна вспоминала, что как-то зимой приходила, очень расстроенная, к Борису Пастернаку в Сивцев Вражек. Он ее утешал, говорил, что скоро жизнь возьмет свое и все наладится и «в Охотном ряду снова будут зайцы висеть». Отголоски этого разговора слышны в этом стихотворении, включенном в цикл «Болезнь», который был написан под впечатлением от перенесенной в ноябре 1918 года тяжелой инфлюэнцы. Ослабленный недоеданием, больной находился в критическом состоянии. Комнату, где он лежал, нельзя было как следует натопить — дров не было. Его выходила мать, переехавшая на время к сыну. В стихах этого цикла отразились проносившиеся в горячечном сознании обрывки тяжелых событий этого года, гложущая боль потери и страшные картины террора.

КРЕМЛЬ В БУРАН КОНЦА 1918 ГОДА

Как брошенный с пути снегам
Последней станцией в развалинах,
Как полем в полночь, в свист и гам,
Бредущий через силу в валяных,

Как пред концом, в упаде сил
С тоски взывающий к метелице,
Чтоб вихрь души не угасил,
К поре, как тьмою всё застелется,

Как схваченный за обшлага
Хохочущею вьюгой на́рочный,
Ловящий кисти башлыка,
Здороваящуюся в наручных.

А иногда! — А иногда,
Как пригнанный канатом на́короть
Корабль, с гуденьем, прочь к грядам
Срывающийся чудом с якоря,

Последней ночью, несравним
Ни с чем, какой-то странный, пенный весь,
Он, Кремль, в оснастке стольких зим,
На нынешней срывает ненависть.

И грандиозный, весь в былом,
Как визионера дивинация¹,

¹ Озарение духовидца (лат.).

Несется, грозный, напролом,
Сквозь неистекший в девятнадцатый.

Под сумерки к тебе в окно
Он всею медью звонниц ломится.
Бойтся, видно, — год мелькнет, —
Упустит и не познакомится.

Остаток дней, остаток вьюг,
Сужденных башням в восемнадцатом,
Бушует, прядает вокруг,
Видать — не нагулялись насыто.

За морем этих непогод
Предвижу, как меня, разбитого,
Ненаступивший этот год
Возьмется сызнова воспитывать.

1918 — 1919

ЯНВАРЬ 1919 ГОДА

Тот год! Как часто у окна
Нашептывал мне, старый: «Выкинься».
А этот, новый, всё прогнал
Рождественскою сказкой Диккенса.

Вот шепчет мне: «Забудь, встряхнись!»
И с солнцем в градуснике тянется
Тот-в-точь, как тот дарил стрихнин
И падал в пузырек с цианистым.

Его зарей, его рукой,
Ленивым веяньем волос его

Почерпнут за окном покой
У птиц, у крыш, как у философов.

Ведь он пришел и лег лучом
С панелей, с снеговой повинности.
Он дерзок и разгорячен,
Он просит пить, шумит, не вынести.

Он вне себя. Он внес с собой
Дворовый шум и — делать нечего:
На свете нет тоски такой,
Которой снег бы не вылечивал.

1919

РАЗРЫВ

1

О стыд, ты в тягость мне! О совесть, в этом раннем
Разрыве столько грез, настойчивых еще!
Когда бы человек, — я был пустым собранием
Висков и губ и глаз, ладоней, плеч и щек!

Тогда б по свисту строф, по крику их, по знаку,
По крепости тоски, по юности ее
Я б уступил им всем, я б их повел в атаку,
Я б штурмовал тебя, позорище мое!

2

От тебя все мысли отвлеку
Не в гостях, не за вином, так на́ небе.

У хозяев, рядом, по звонку
Отопрут кому-нибудь когда-нибудь.

Вырвусь к ним, к бряцанью декабря.
Только дверь — и вот я! Коридор один.
«Вы оттуда? Что там говорят?
Что слышать? Какие сплетни в городе?

Ошибается ль еще тоска?
Шепчет ли потом: «Казалось — вылитая»,
Приготовясь футов с сорока
Разлететься восклицаньем: «Вы ли это?»

Пощадят ли площади меня?
Ах, когда б вы знали, как тоскуется,
Когда вас раз сто в течение дня
На ходу на сходствах ловит улица!»

3

Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить
Этот приступ печали, гремящей сегодня,
как ртуть в пустоте
Торричелли.

Воспрети, помешательство, мне, — о, приди, посягни!
Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись, мы — одни.
О, туши ж, о, туши! Горячее!

4

Разочаровалась! Ты думала — в мире нам
Расстаться за реквиемом лебединым?
В расчете на горе, зрачками расширенными
В слезах, примеряла их непобедимость?

На мессе б со сводов посыпалась стенопись,
Потрясшись игрой на губах Себастьяна.
Но с нынешней ночи во всем моя ненависть
Растянутасть видит, и жаль, что хлыста нет.

Впотьмах, моментально опомнясь, без медлящего
Раздумья решила, что все перепашет.
Что — время. Что самоубийство ей не для чего,
Что даже и это есть шаг черепаший.

5

Мой друг, мой нежный, о точь-в-точь,
как ночью, в перелете
с Бергена на полюс,
Валящим снегом с ног гагар сносимый жаркий пух,
Клянусь, о нежный мой, клянусь, я не неволюсь,
Когда я говорю тебе — забудь, усни, мой друг.

Когда, как труп затертого до самых труб норвежца¹,
В виденьи зим, не движущих заиндевелых мачт,
Ношусь в сполохах глаз твоих шутивым —
спи, утешься,
До свадьбы заживет, мой друг, угомонись, не плачь.

Когда совсем как север вне последних поселений,
Украдкой от арктических и неусыпных льдин,
Полночным куполом полощущий глаза слепых
тюленей,
Я говорю — не три их, спи, забудь: всё вздор один.

¹ Полярная экспедиция Ф. Написана на корабле «Фрам», затертом льдами.

6

Рояль дрожащий пену с губ оближет.
Тебя сорвет, подкосит этот бред,
Ты скажешь: — Милый! — Нет, — вскричу я, — нет!
При музыке?! — Но можно ли быть ближе,

Чем в полутьме, аккорды, как дневник,
Меча в камин комплектами, погодно?
О пониманье дивное, кивни,
Кивни, и изумишься! — ты свободна.

Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно — что жилы отворить.

1918

* * *

«...А ужасная зима была здесь в Москве, Вы слышали, наверное. Открылась она так. Жильцов из нижней квартиры погнал Изобразительный отдел вон; нас, в уважение к отцу и ко мне, пощадили, выселять не стали. Вот мы и уступили им полквартиры, уплотнились. Очень, очень рано, неожиданно рано выпал снег, в начале октября зима установилась полная. Я словно переродился и пошел дрова воровать у Ч.К. по соседству. Так постепенно сажень натаскал. И еще кое-что в том же духе. — Видите вот и я — советский стал. Я к таким ужасам готовился, что год

мне, против ожиданий, показался сносным и даже счастливым — он протек «еще на земле», вот в чем счастье...»

*Борис Пастернак.
Из письма к Д. В. Петровскому
6 апреля 1920*

* * *

Сейчас мы руки углем замараем,
Вмуруем в камень самоварный дым,
И в рукопашной с медным самураем,
С кипящим солнцем в комнаты влетим.

Но самурай закован в серый панцирь.
К пустым сараям не протоптан след.
Пролеты комнат канули в пространство.
Зари не будет, в лавках чаю нет.

Тогда скорей на крышу дома слазим,
И вновь в роях недвижимых верениц
Москва с размаху кувыркнется наземь,
Как ящик из-под киевских яиц.

Испакощенный тес ее растащен.
Взамен оград какой-то чародей
Огородил дощатый шорох чащи
Живой стеной ночных очередей.

Кругом фураж, не дожранный морозом.
Застряв в бурана бледных челюстях,
Чернеют крупы палых паровозов
И лошадей, шарахнутых врасяг.

Пещерный век на пустырях щербатых
Понурыми фигурами проныр
Напоминает города в Карпатах:
Москва — войны прощальный сувенир.

Дырявя даль, и тут летали ядра,
Затем, что воздух родины заклят,
И половина края — люди кадра,
А погибать без торгу — их уклад.

Затем, что небо гневно вечерами,
Что распорядок штатский позабыт,
И должен рдеть хотя б в военной раме
Военной формы не носивший быт.

Теперь и тут некстати блещет скатерть
Зимы; и тут в разрушенный очаг,
Как наблюдатель на аэростате,
Косое солнце смотрит натошак.

1928

Из романа в стихах «Спекторский»

* * *

«...Современные течения вообразили, что искусство как фонтан, тогда, как оно — губка.

Они решили, что искусство должно бить, тогда как оно должно всасывать и насыщаться.

Они сочли, что оно может быть разложено на средства изобразительности, тогда как оно складывается из органов восприятия.

Ему следует всегда быть в зрителях и глядеть всех чище, восприимчивей и верней, а в наши дни

оно познало пудру, уборную и показывается с эстрады; как будто на свете есть два искусства и одно из них, при наличии резерва, может позволить себе роскошь самоизвращения, равную самоубийству. Оно показывается, а оно должно тонуть в райке, в неизвестности, почти не ведая, что на нем шапка горит, и что, забившееся в угол, оно поражено светопрозрачностью и фосфоресценцией, как некоторою болезнью...

Борис Пастернак.

Из статьи «Несколько положений». 1918

Характерным явлением этого времени были литературные кафе, которые некоторым образом заменяли исчезнувшие издательства, служа распространению поэзии среди публики. Поэты читали свои произведения посетителям, выступления переходили в диспуты и споры. Непременным участником таких чтений был Маяковский, ставший, по словам Пастернака, «живой истиной и оправданием этого поприща», тогда как он сам, устыдившись однажды «сибаритской доступности победы эстрадной», сторонился подобных представлений.

ШЕКСПИР

Извозчиный двор и встающий из вод
В уступах — преступный и пасмурный Тауэр,
И звонкость подков, и простуженный звон
Вестминстера, глыбы, закутанной в траур.

И тесные улицы; стены, как хмель,
Копящие сырость в разросшихся бревнах,

Угрюмых, как копоть, и бражных, как эль,
Как Лондон, холодных, как поступь, неровных.

Спиралями, мешкотно падает снег.
Уже запирали, когда он, обрюзгший,
Как сползший набрюшник, пошел в полусне
Валить, засыпая уснувшую пустошь.

Оконце и зерна лиловой слюды
В свинцовых ободьях. — «Смотря по погоде.
А впрочем... А впрочем, соснем на свободе.
А впрочем — на бочку! Цирюльник, воды!»

И, бреясь, гогочет, держась за бока,
Словам остряка, не уставшего с пира
Цедить сквозь приросший мундштук чубука
Убийственный вздор.

А меж тем у Шекспира
Остриль пропадает охота. Сонет,
Написанный ночью с огнем, без помарок,
За дальним столом, где подкисший ранет
Ныряет, обнявшись с клешнею омара,
Сонет говорит ему:

«Я признаю
Способности ваши, но, гений и мастер,
Сдается ль, как вам, и тому, на краю
Бочонка, с намыленной мордой, что мастью
Весь в молнию я, то есть выше по касте,
Чем люди, — короче, что я обдаю
Огнем, как, на нюх мой, зловоньем ваш кнастер¹?

¹ Сор­т трубочного табака.

Простите, отец мой, за мой скептицизм
 Сыновний, но сэр, но милорд, мы — в трактире.
 Что мне в вашем круге? Что ваши птенцы
 Пред плещущей чернью? Мне хочется шири!

Прочтите вот этому. Сэр, почему ж?
 Во имя всех гильдий и биллей! Пять ярдов —
 И вы с ним в бильярдной, и там — не пойму,
 Чем вам не успех популярность в бильярдной?»

— Ему?! Ты сбесился? — И кличет слугу,
 И, нервно играя малаговой веткой,
 Считает: полпинты, французский рагу —
 И в дверь, запустя в привиденье салфеткой.

1919

Претензии сонета к автору, обрекающему своих «птенцов» на узость трактирного круга, отражают предостережения Маяковскому, лирическая сила которого терпела ущерб от выступлений в кафе, где он снискивал дешевую популярность завсегдатаев и рукоплесканье черни. Иронический вопрос: «Чем вам не успех популярность в бильярдной?» — открыто обращен к Маяковскому, страстному игроку в бильярд. Точностью попадания он вызывает бешенство у героя стихотворения. В образе Шекспира Пастернак емко и лаконично рисует характерные детали поведения и внешнего облика Маяковского, — «остряка, не уставшего с пира//Цедить сквозь приросший мундштук чубука убийственный вздор». Современники запомнили и передали в своих воспоминаниях при-

меры «убийственного» остроумия Маяковского, которое с особенной яркостью проявлялось во время публичных диспутов, а его приросшая к губе папираса запечатлена на многих фотографиях.

В 1922 году, надписывая Маяковскому только что вышедшую книгу «Сестра моя — жизнь», Пастернак выразил свое недоумение, которое вызывал его отказ от высоких возможностей лирического самовыражения в пользу поденной мелочи случайных и временных задач. Сопоставляя бесстрашие раннего Маяковского и силу его гневного вызова обществу с теперешними бессодержательными и «неуклюже зарифмованными прописями», Пастернак писал:

МАЯКОВСКОМУ

Вы заняты нашим балансом,
Трагедией ВСНХ¹,
Вы, певший Летучим голландцем²
Над краем любого стиха.

Холщовая буря палаток
Раздулась гудящей Двиной
Движений, когда вы, крылатый,
Возникли борт о борт со мной.

И вы с прописями о нефти?
Теряясь и оторопев,

¹ Всероссийский совет народного хозяйства.

² «Летучий голландец» — знаменитый корабль-призрак.

Я думаю о терапевте,
Который вернул бы вам гнев.

Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло занести
Под своды таких богоделен
На искреннем этом пути.

1922

В первых числах мая 1921 года в Москву приезжал Александр Блок. В очерке «Люди и положения» Борис Пастернак вспоминал, что представился ему

«...в коридоре или на лестнице Политехнического музея в вечер его выступления в аудитории музея. Блок был приветлив со мной, сказал, что слышал обо мне с лучшей стороны, жаловался на самочувствие, просил отложить встречу с ним до улучшения его здоровья...»

Но встрече не суждено было состояться, вскоре в Москву пришло известие о его болезни и смерти.

«...С Блоком прошли и провели свою молодость я и часть моих сверстников... У Блока было все, что создает великого поэта, — огонь, нежность, проникновение, свой образ мира, свой дар особого, все претворяющего прикосновения, свою сдержанная, скрадывающаяся, вобравшаяся в себя судьба...

Черты действительности как током воздуха занесены вихрем блоковской впечатлительности в его книги...

Суммарным миром, душой, носителем этой действительности был город блоковских стихов, главный герой его повести, его биографии.

Этот город, этот Петербург Блока — наиболее реальный из Петербургов, нарисованных художниками новейшего времени. Он до безразличия одинаково существует в жизни и воображении, он полон повседневной прозы, питающей поэзию драматизмом и тревогой, и на улицах его звучит то общеупотребительное, будничное просторечие, которое освежает язык поэзии.

В то же время образ этого города составлен из черт, отобранных рукой такую нервной, и подвергся такому одухотворению, что весь превращен в захватывающее явление редчайшего внутреннего мира...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

ВЕТЕР

(Отрывки о Блоке)

Он ветрен, как ветер. Как ветер,
Шумевший в имени в дни,
Как там еще Филька-фалетер¹
Скакал в голове шестерни.

И жил еще дед-якобинец,
Кристалльной души радикал,
От коего ни на мизинец
И ветреник внук не отстал.

Тот ветер, проникший под ребра
И в душу, в течение лет
Недоброю славой и доброй
Помянут в стихах и воспет.

¹ Форейтор в народном произношении.

Тот ветер повсюду. Он — дома,
В деревьях, в деревне, в дожде,
В поэзии третьего тома,
В «Двенадцати», в смерти, везде.

.....
Зловещ горизонт и внезапен,
И в кровоподтеках заря,
Как след незаживших царапин
И кровь на ногах косаря.

Нет счета небесным порезам,
Предвестникам бурь и невзгод,
И пахнет водой и железом
И ржавчиной воздух болот.

В лесу, на дороге, в овраге,
В деревне или на селе
На тучах такие зигзаги
Сулят непогоду земле.

Когда ж над большою столицей
Край неба так ржав и багрян,
С державою что-то случится,
Постигнет страну ураган.

Блок на небе видел разводы.
Ему предвещал небосклон
Большую грозу, непогоду,
Великую бурю, циклон.

Блок ждал этой бури и встряски.
Ее огневые штрихи
Боязнью и жаждой развязки
Легли в его жизнь и стихи.

1956

Летом 1921 года Борис Пастернак познакомился с Евгенией Владимировной Лурье. В то время она училась во ВХУТЕМАСе, в классе П.П. Кончаловского. В сентябре художник Л.О. Пастернак с дочерьми уехали в Германию, сыновья остались в Москве. Борис пригласил Женю Лурье забрать краски, оставшиеся после отъезда отца. Она набрала в передник недовыжатые тюбики. Он читал ей свой неоконченный роман о Жене Люверс, письма Пушкина к жене и загадывал по книге, будет ли она его женой. Узнав о «странном» поклоннике, родители Жени срочно вызвали ее к себе в Петроград. Вслед за ней полетели письма:

22 декабря 1921.

«Женичка, я из твоего отсутствия не создам культа, мне кажется, что я не думаю о тебе, сегодня первый «спокойный» день у меня за последний месяц, — но — весь этот день у меня, со вчерашнего безостановочно колеблющееся сердцебиение, точно эти пульсации имитируют что-то твое, дорогое и тихое, может быть, ту золотую рыбковую уклончивость, с которой начинаешь ты: «Ах попалась...»¹. Такова и погода, таковы и встречи. То есть я без шума и без драматизма, звуковым и душевным образом, полон и болен тобою...»

23 декабря 1921.

«...Женичка, душа и радость моя и мое будущее, Женичка, скажи мне что-нибудь, чтобы я не помещался от быстрот, внезапно меня задевающих и сры-

¹ Начало детской песенки: «Ах попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети...».

вающих с места. Женичка, мир так переменялся с тех дней, которые когда-то нежились на страницах наших учебников, когда некоторых из нас снимали — куколкой с куклою на руках¹! И не попадались тогда эти птички, а щебет их срисовывал ветром по лазури уже нарисованные весною в полдень побегии распутившихся лип, и журчанье этой рисовальной резвости ручьями лилось через окошко в некоторые дневники и ручьями — под карандаш, срисовывавший маму с тихой фотографии на тихую бумагу²...»

Вслед за письмами Пастернак приехал и сам. В периоды грустно складывающихся обстоятельств их дальнейшей жизни он часто возвращался мыслью ко времени их первой близости, ища опоры в этих воспоминаниях:

«...В разлуке я ее постоянно вижу такой, какою она была, пока нас не оформило браком, то есть пока я не узнал ее родни, а она — моей. Тогда то́, чем был полон до того воздух, и для чего мне не приходилось слушать себя и запрашивать, потому что это признание двигалось и жило рядом со мной в ней, как в изображеньи, ушло в дурную глубину способности, способности любить или не любить. Душевное значенье рассталось со своими вседневными играющими формами. Стало нужно его воплощать и осуществлять...»

*Борис Пастернак. Из письма к М. Цветаевой
11 июля 1926*

¹ Детская фотография шестилетней Жени с куклою.

² Скучая по матери, Женя рисовала ее портрет по фотографии.



О как она была смела,
Когда едва из-под крыла
Любимой матери, шутя,
Свой детский смех мне отдала
Без прекословий и помех —
Свой детский мир и детский смех, —
Обид не знавшее дитя,
Свои заботы и дела...

В апреле 1922 года в издательстве Гржебина в Москве тиражом в 1000 экземпляров вышла книга «Сестра моя — жизнь». Борис Пастернак с особым удовольствием надписывал дарственные экземпляры: Маяковскому и Асееву, Ахматовой и Кузмину, Мандельштаму и Катаеву и многим другим. Был надписан экземпляр книги и Брюсову, но подарить его он не успел, послал по почте из Петрограда.

Дело в том, что по восстановлении дипломатических отношений России с Германией Пастернак начал хлопоты, чтобы вместе с молодой женой поехать в Берлин к родителям. Туда же перебралась часть русских издательств, в которых печатались его книги: второе издание «Сестры моей — жизни» и недавно оконченные «Темы и вариации».

Решили плыть морем из Петрограда, так было дешевле, тем более что багаж брали большой: живописные работы Евгении Владимировны, которая хотела продолжать за границей свое образование, ящики с книгами для Пастернака, который хотел писать прозу. Накануне отъезда из Москвы он был внезапно вызван к Троцкому. Об этом разговоре мы

знаем из письма Пастернака к Брюсову, написанного через четыре дня, 15 августа 1922 года.

«...Он более получаса беседовал со мною о предметах литературных, жалко, что пришлось говорить главным образом мне, хотелось больше его послушать, а надобность в такой декларативности явилась не только от двух-трех его вопросов... потребность в таких изъяснениях вытекала прямо из перспектив заграничных, чреватых кривотолками, искажениями истины, разочарованиями в совести уехавшего. Он спросил меня (ссылаясь на «Сестру» и еще кое-что, ему известное — отчего я «воздерживаюсь» от откликов на общественные темы...»

17 августа Пастернак с женой погрузились на пароход «Гакен», плывший из Петрограда в Штеттин.

ОТПЛЫТИЕ

Слышен лепет соли каплющей.
Гул колес едва показан.
Тихо взявши гавань за плечи,
Мы отходим за пакгаузы.

Плеск и плеск, плеск без отзова.
Разбегаясь со стенаньем,
Вспыхивает бледно-розовая
Моря ширь берестяная.

Треск и хруст скелетов раковых,
И шипит, горя, берёста.
Ширь растёт, и море вздрагивает
От ее прироста.

Берега уходят ельничком, —
Он невзрачен и тщедушен.
Море, сумрачно бездельничая,
Смотрит сверху на идущих.

С моря еще по морошку
Ходит и ходит лесками
Грохнув и борт огороша,
Ширящееся плесканье.

Виден еще, еще виден
Берег, еще не без пятен
Путь, — но уже необыден
И, как беда, необъятен.

Страшным полуоборотом,
Сразу меняясь во взоре,
Мачты въезжают в ворота
Настежь открытого моря.

Вот оно! И, в предвкушеньи
Сладко бушующих новшеств,
Камнем в пучину крушений
Падает чайка, как ковшик.

1922. Финский залив

Впечатления от Германии отразились в цикле стихов, написанных в Берлине. Два из них посвящены первым дням, проведенным в Штеттине, на берегу Северного моря. В них явственно слышны отголоски того облегчения, которое пережил человек, освободившийся от страшных снов революционной Москвы. Несомненно, что предотъездный допрос Троцкого добавил краски этим видениям.

МОРСКОЙ ШТИЛЬ

Палящим полднем вне времен
В одной из лучших экономий
Я вижу движущийся сон —
Историю в сплошной истоме.

Прохладой заряжен револьвер
Подвалов, и густой салют
Селитрой своды отдают
Гостям при входе в полдень с воли.

В окно ж из комнат в этом доме
Не видно ни с каких сторон
Следов знакомой жизни, кроме
Воды и неба вне времен.

Хватаюсь искомого приволья,
Я рвусь из низких комнат вон.

Напрасно! За лиловый фольварк,
Под слуховые окна служб
Верст на сто в черное безмолвье
Уходит белой лентой глушь.

Верст на сто путь на запад занят
Клубничной пеной, и янтарь
Той пены за собою тянет
Глубокой ложкой вал винта.

А там, с обмылками в обнимку,
С бурлящего песками дна,
Как кверху всплывшая клубника,
Круглится цельная волна.

1922 — 1923

ПЕРЕЛЕТ

А над обрывом, стих, твоя опешит
Зарвавшаяся страстность муравья,
Когда поймешь, чем море отмель крешет,
Поскальзываясь, шаркая, ревя.

Обязанность одна на урагане:
Перебивать за поворотом грусть
И сразу перехватывать дыханье,
И, кажется, ее нетрудно блюсть.

Беги же вниз, как этот спуск ни скользок,
Где дачницыно щелкает белье,
И ты поймешь, как мало было пользы
В преследованьи рифмой форм ее.

Не осмотрайся и времени не выбрав
И поглощенный полностью собой,
Нечаянно, но с фырканием всех фибров
Летит в объятья женщины прибой.



Берлин в 1920-х годах.

* * *

Где грудь, где руки брызгавшейся рыбки?¹
До лодок доплеснулся жидкий лед.
Прибой и землю обдал по ошибке...
Такому счастью имя — перелет.
1922 — 1923

БАБОЧКА-БУРЯ

Бывалый гул былой Мясницкой
Вращаться стал в моем кругу,
И, как вы на него ни цыцкай,
Он пальцем вам — и ни гугу.
Он снится мне за массой действий,
В рядах до крыш горящих сумм²,
Он сыплет лестницы, как в детстве,
И подымает страшный шум.
Напрасно в сковороды били,
И огорчалась кочерга.

¹ Образ трепещущей рыбки восходит к упоминавшейся выше в письме к Жене Лурье «золотой рыбковой уклончивости». Свое намеренное пожелание писать о ней стихи («преследования рифмой форм ее») Пастернак объяснял в позднейших письмах к ней суеверной боязнью потерять ею, подобно тому, как это случилось с Еленой Виноград.

² Стихотворение передает воспоминания детства, охватившие Пастернака при встрече с родителями и жизни с ними рядом в берлинском пансионе. Из окна пансиона через крыши многоэтажных домов и берлинского почтамта, украшенного иллюминированными столбцами ежедневно падающего денежного курса, он увидел Мясницкую начала века, ремонт и перестройку московского почтамта летом 1910 года и картину

Питается пальбой и пылью
Окуклившийся ураган.

Как призрак порчи и починки,
Объевший веточки мечтам,
Асфальта алчного личинкой
Смолу котлами пьет почтаamt.

Но за разгромом и ремонтом,
К испугу сомкнутых окон,
Червяк спокойно и дремотно
По закоулкам тклет кокон.

Тогда-то, сбившись с перспективы,
Мрачатся улиц выхода,
И бритве ветра тучи гриву
Подбрасывает духота.

Сейчас ты выпорхнешь, инфанта,
И, сев на телеграфный столб,
Расправишь водяные банты
Над топотом промокших толп.

1923

Пастернак надеялся в Берлине на встречу с Цветаевой, которой летом послал восторженное письмо по поводу ее стихотворной книги «Версты».

грозы в городе, обернувшейся страшным ураганом 16 июня 1904 года. Образ инфанты-бабочки, последовательно прошедшей все метаморфозы из личинки и кокона, опирается на портрет инфанты Маргариты Веласкеса. В первоначальном автографе текст предварялся эпиграфом из стихотворения Фета «Метаморфозы», где стадии развития бабочки соответствуют этапам взросления девочки.



«... Меня сразу покорило лирическое могущество цветаевской формы, кровно пережитой, не слабогрудой, круто сжатой и сгущенной, не запыхивающейся на отдельных строчках, охватывающей без обрыва ритма целые последовательности строф развитием своих периодов.

Какая-то близость скрывалась за этими особенностями, быть может, общность испытанных влияний или одинаковость побудителей в формировании характера, сходная роль семьи и музыки, однородность отправных точек, целей и предпочтений.

Я написал Цветаевой... письмо, полное восторгов и удивления по поводу того, что я так долго прозевывал ее и так поздно узнал. Она ответила мне...»

Борис Пастернак.
Из очерка «Люди и положения»

В письме от 29 июня 1922 года Цветаева вспоминала их случайные московские встречи и разминовения и просила прислать «Сестру мою — жизнь», потому что до сих пор ей попадались только отдельные стихотворения Пастернака. Давала свой берлинский адрес и объясняла:

«... Я в Берлине надолго, хотела ехать в Прагу, но там очень трудна внешняя жизнь...»

Но надежды остаться в Берлине не оправдались, несмотря на опасения, Цветаева вынуждена была перебраться в Прагу, где ее муж получил стипендию. Пастернак писал ей 12 ноября 1922 года:

«... Я был огорчен и обескуражен, не застав Вас в Берлине. Расставаясь с Маяковским, Асеевым, Куз-

минным и некоторыми другими, я в той же линии и в том же духе рассчитывал на встречу с Вами и с Белым.

Однако разочарование на Ваш счет — истинное еще счастье против разочарования Белым. Здесь все перессорились, найдя в пересечении произвольно полемических и театрально приподнятых копий фикцию, заменяющую отсутствующий предмет. Казалось бы, надо уважать друг друга всем членам этой артели, довольствуясь взаимным недовольством, — без которого фикции бы не было. Последовательности этой я не встретил даже в Белом...»

Втянутый против желания в литературную жизнь Берлина, наполненную «гражданскими сварами и потасовками, без которых, как он писал, эмиграции, очевидно, не жизнь», Пастернак после выхода своей книги «Темы и вариации», согласно осужденной за «головоломность», постарался удалиться от недавних знакомств, замкнувшись в одиночество. Посылая Цветаевой книгу «Темы и вариации», он снабдил ее такой надписью:

Несравненному поэту Марине Цветаевой, «донецкой, горючей и адской» (стр. 76) от поклонника ее дара, отважившегося издать эти высебки и опилки, и теперь кающегося.

*Б. Пастернак.
29.1.23. Берлин*

Указанная в скобках страница книги соотносит цитату со стихотворением «Нас мало. Нас может быть трое...», тем самым причисляя Цветаеву к наиболее близким ему именам в современной поэзии.

Стихотворение первоначально называлось «Поэты», но в книге название снято как разъяснительное. Его заменяет оборванное на втором слове пушкинское определение свободного таланта из «Моцарта и Сальери»:

Нас мало избранных, счастливых праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.

В 1921 году, когда Пастернак писал это стихотворение, в число трех «избранных», которым посвящено стихотворение, входили ближайшие: Маяковский и Асеев. Теперь, в 1923 году, после чтения «Верст» к ним причислялась Цветаева.

* * *

Нас мало. Нас может быть трое
Донецких, горючих и адских
Под серой бегущей корою
Дождей, облаков и солдатских
Советов, стихов и дискуссий
О транспорте и об искусстве.

Мы были людьми. Мы эпохи.
Нас сбило и мчит в караване,
Как тундру под тендера вздохи
И поршней и шпал порыванье.
Слетимся, ворвемся и тронем,
Закружимся вихрем вороньим,
И — мимо! — Вы поздно поймете.
Так, утром ударивши в ворох

Соломы — с момент на намете, —
След ветра живет в разговорах
Идущего бурно собрания
Деревьев над кровельной драпью.

1921

* * *

«...Передо мной книга Б. Пастернака «Сестра моя — жизнь»...

...Стихи Пастернака читаю в первый раз. (Слышала — изустно — от Эренбурга, но от присущей и мне фронды, — нет, позабыли мне в люльку боги дар соборной любви! — от исконной ревности, полной невозможности любить вдвоем — тихо упорствовала: «Может быть и гениально, но мне не нужно!»). — С самим Пастернаком я знакома почти шапочно: три-четыре беглых встречи. — Слышала его раз, с другими поэтами в Политехническом Музее. Говорил он глухо и почти все стихи забывал. Отчужденностью на эстраде явно напоминал Блока. Было впечатление мучительной сосредоточенности, хотелось — как вагон, который не идет — подтолкнуть... «Да ну же...», и так как ни одного слова так и не дошло (какая-то бормота, точно медведь просыпается) нетерпеливая мысль: «Господи, зачем так мучить себя и других!»

Внешнее осуществление Пастернака прекрасно: что-то в лице зараз и от араба и от его коня: настороженность, вслушивание, — и вот-вот... Полнейшая готовность к бегу. — Громадная, тоже конская, дикая и робкая роскошь глаз. (Не глаз, а око). Впечатление, что всегда что-то слушает, непрерывность внимания и — вдруг — прорыв в слово — чаще довременное какое-то: точно утес заговорил, или дуб. Слово (в беседе) как прерывание исконных немот. Да не только в беседе, то же и с гораздо большим

правом опыта могу утвердить и о стихе. Пастернак живет не в слове, как дерево — не явственностью листвы, а корнем (тайной). Под всей книгой — неким огромным кремлевским ходом — тишина.

Тишина, ты лучшее
Из всего, что слышал...»

*Марина Цветаева.
Из статьи «Световой ливень»*

Из Берлина Пастернаки уехали 23 марта 1923 года. Марина Цветаева надеялась, что Борис заедет в Прагу, ходила «встречать», писала стихи. Переписка продолжалась, постепенно набирая силу.





Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь.





Б. и Е. Пастернаки с сыном.
Фото М. Наппельбаума. 1924 г.



Борис Пастернак — Евгении Пастернак
(Москва — Тайцы)

27—28 мая 1924.

Нежно любимая моя, я прямо головой мотаю от мучительного действия этих трех слов, — я часто так живо вижу тебя, ну точно ты тут за спиной, и страшно, страшно люблю тебя, до побледнения порывисто. Ах, какое счастье, что *это ты* у меня есть! Какой был бы ужас, если бы это было у другого, я бы в муках изощел и кончился.

Твой особый неповторимый перелив голоса, грудной, мой, милый, милый. И когда ты улыбаешься и дуешься в одно время, у тебя чудно щурятся глаза и непередаваемо как-то округляется подбородок, ты знаешь, про что я говорю, нет? — Ну как тебе это сказать. У тебя среди документов такая есть карточка.

Женя, Женечка, Женечка! Ты слышишь? Женечка!

Но, рыбка моя, золотая моя любушка, сейчас эти трамваи пройдут и пароходы отвоюют, улочи миг за-тишья, вслушайся, Женичка, слышишь, как я с тобой шепчусь. Милая, милая моя сестра, ангел и русалочка, ты всего меня пропитала собою, ты вместо крови пылаешь и кружишься во мне, и всего мне больней, когда раскинутыми руками и высокой большой грудью ты ударяешься о края сердца, пролетая сквозь него, как наездница сквозь обруч, о сожмись,

сожмись, мучительница, ты же взорвешь меня, голубь мой, и кто тогда отстоит твою квартиру?!

Ненаглядная моя голубушка, у меня пересыхают губы от ласкательных слов, скользящих и свищущих по ним. Я беззвучно смеюсь и грущу, и пирую, и нравлюсь дождю, лепеча тебе весь этот вздор, и широко, замедленно долго, беззаветно и безотчетно, как глубокую большую реку держу тебя в руках и дышу тобою. Красавица моя, что же ты все худенькая еще такая! Милое аттическое бесподобие мое, не увечь моей ширящейся, как туман, особенной, высокой, боготворящей тебя возвеличивающей страсти. Здоровей и поправляйся, толстей, радость моя! Нельзя, недопустимо быть щепкой при таком голосе, при таких губах, при таком взгляде...

19 июня 1924.

Дорогая девочка, жена моя и друг! Ведь у меня нет никого родней и лучше тебя на свете, не исключая сестры и отца и Марины. Я не могу видеть тебя как-нибудь иначе, чем поражающе светлой, потому что это чувство не освещать не может. Когда же я перестаю видеть тебя в воображении, и *думаю* о тебе, то и в угашении справедливой мысли ты выходишь из ее скупых границ. Когда я вспоминаю, что ты не любишь меня, то тут порывисто и возмущенно взвизывается твой образ, любящий и преданный, верный тебе во весь рост, с головы до ног тебя повторяющий. Это — ты, живая ты, но до боли связанная со мной, видящая, слышащая, понимающая меня. И почему бы тебе с этим образом спорить? Нет такого недостатка, находимого мыслью в тебе, из которого бы ты

в следующее же мгновение не вырвалась и не выросла на ее глазах.

Это от того, что чувство, которому бы следовало обратиться к моему воспитанью, не отрываясь воспитывает твой образ. Я сильно люблю тебя.

Эти четыре слова с такой стремительностью и силой оторвались от письма, что пока я наносил их, они были уже неизвестно где. Они прозвучали страшно далеко, точно их произнесли в Тайцах. Они пронеслись мимо меня физически заметные, и потрясающим действием обладала именно их неожиданная и мгновенная самостоятельность...

20 июня 1924.

...Я до боли размышлял о тебе. Ты неопишима хороша в моей мечте и в нескольких разрозненных и отдельно стоящих воспоминаниях. Я горжусь тобой. — Высотой требований, которые предъявляет твое существо, как краска свету, для того, чтобы существовать. Ты можешь быть и не быть. Вот ты есть, и я души в тебе не чаю, заговариваюсь с тобой и ты требуешь все большего и большего.

Назвать ли мне то счастье, которое я себе обещаю.

Ты убедила меня в том, что существо твое нуждается в поэтическом мире больших размеров и в полном разгаре для того, чтобы раскрыться вполне и дышать, и волновать каждую свою складку. Ты была изумительным, туго скрученным бутоном, когда уловили тебя фотографии твоих детских документов и удостоверений... Твоя сердцевина хватала за сердце тою же твердой и замкнутой скруткой, горьким и прекрасным узлом, когда быстро и беспорядочно

распустившаяся по краям, ты имела столько рассказать о мастерских и жемчужинке. Как рассказать тебе о том, что произошло дальше. Мне больно вводить в письмо дешевые пошлости, которые приходится говорить о самом себе. Я расскажу как-нибудь на словах. Но если бы я просто покорился своей природе, горячо любимая моя, я бы ровным, ровным теплом самосгорающего безумья окружил тебя, я бы ходячим славословьем тебе бродил среди друзей и смешил их или тревожил загадочностью своего состояния, я бы недосыгаемую книгу написал тогда вместо одного того письмеца Кончаловскому, и бережно, лепесток за лепестком *раскрыл бы твое естественное совершенство*, но раскрывшаяся, напоянная и взращенная зреньем и знаньем поэта, насквозь изнизанная влюбленными стихами, как роза — скрипучестью и сизыми тенями, — *ты неизбежно бы досталась другому*.

О как я это знаю и вижу.

У меня сердце содрогается и сейчас, словно это и случилось, от одного представленья возможности того, и я тебя к этой возможности глухо ревную. Ты неизбежно бы досталась другому прямо из моих рук, потому что с тобою в сильнейшей и болезненнейшей степени повторилось бы то, что бывало у меня раньше. Я не боюсь это сказать, как ни смешно и жалко это признание на обычный глаз. Но этот глаз — предел пошлости, и, говоря я, глаза этого я не боюсь.

Тогда и началось это странное и смертельно утомившее меня прозябанье, при котором я стал учиться сдержанности, так называемому здоровью и, как это всегда бывает, от производного, от ассистентов пере-

шел к руководящему, к основанию этой чуждой и вначале страшившей меня науки. То есть я стал стараться успевать в бесчувственности, в холоде, и приобретая объективность воззрения, стал переставать видеть тебя или видел искаженную, опороченную этим наблюдающим и судящим глазом... Мне казалось необходимым отказаться от музыки и стихов, от мира, рвавшего раскинуться над тобой и вокруг тебя волною поклоненья, постигания и одухотворенного ухода, и, как ни странно, я в этом преуспел... Я опустошил себя неслыханно. Прямо хоть плачь...

Я знал, что согрею и расправлю тебя, что ты вольно и без боли распустишься под бережным дыханьем поэзии, я знал, что ты ее и меня полюбишь, что *только я* буду тем единственным, кто не причинит ни малейшего вреда тому в тебе, что прекрасно и чем в тебе любитесь Бог. Я знал, что это само себя подтачивающее обожанье способно стать вторым рождением для тебя, и конечно оно больше матери, нарочно данной каждому человеку Богом, чтобы быть внимательной к тому, на что Бог не обращает внимания. Я знал, что ты полюбишь меня и скоро запечалишься и станешь недоумевать, узнав, что с этим перегретым и благотворным миром жить нельзя... Я знал, что, огорченная и оскорбленная, ты уйдешь от меня, отдохнувшая и оправившаяся на таком воздухе, вдесятеро прекраснее и моложе, чем была, с раскрывшимися на себя глазами, с душой моей и мукою на кушаче, как с дорожным подарком. К другим...

О, Женя, что я сделал с собой. Для того, чтобы заморозить тебя, как это случилось, я должен был убить весь свой смысл. О теперь послушай. Мне

гнушно и мерзит копать в этом. Слушай, родная сестра моя по страданию, слушай, самопожертвованье, два года делившее со мной могилу, о скажи мне, может ли этот мир мне изменить? Верится ли тебе, чтобы я навсегда разучился жить стихами? О, ведь это невероятно, ведь мне кажется, что возвращается этот мир. О любимая, любимая, где слова взять, чтобы сказать тебе, какими застаёт нас эта, кажется, согласная возродиться, стихия...

* * *

«...Вероятно через месяц я поступлю на службу... Без регулярного заработка мне слишком бы неспокойно жилось в обстановке, построенной сплошь, сверху донизу, по периферии всего государства в расчете на то, что все в нем служат, в своем единообразии доступные обозрению и пониманию постоянно-го контроля. Итак я решил служить...»

*Борис Пастернак.
Из письма к родителям
23 сентября 1924*

* * *

Привыкши выковыривать изюм
Певучестей из жизни сладкой сайки,
Я раз оставить должен был стезю
Объевшегося рифмами всезнайки.

Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить.

Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь.

Но я не засиделся на мели.
Нашелся друг отзывчивый и рьяный.
Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны¹.

Задача состояла в ловле фраз
О Ленине. Вниманье не дремало.
Вылавливая их, как водолаз,
Я по журналам понырял немало.

Мандат предоставлял большой простор.
Пуская в дело разрезальный ножик,
Я каждый день форсировал Босфор
Малодоступных публике обложек.

То был двадцать четвертый год. Декабрь
Твердел, к стеклу оконному притертый.
И холодел, как оттиск медяка
На опухоли теплой и нетвердой.

1930

Из романа в стихах «Спекторский»

¹ В поисках регулярно оплачиваемой работы Пастернак обратился к своему другу, литературному критику Я. З. Черняку, который предложил ему участвовать в составлении библиографии по Ленину, готовившейся в Институте Ленина при ЦК ВКПб. Ему поручили просмотр иностранных изданий, для чего был выписан пропуск в библиотеку Наркоминдела и разрешено пользование журналами и газетами на немецком, французском и английском языках.

* * *

«...Архивами называются такие учреждения, где становятся документами и достопримечательностями последние пустяки. Какой ни на есть хлам, на который бы ты и не взглянула, в архиве величается материалом, хранится под ключом и описывается в регистре. Таков уже и мой возраст. Это звучит невероятно глупо. Для других, объективно, я очень еще от него далек. Но у меня хорошее чутье, и я чувствую его издали. Вот в чем его отличие. Что все становится материалом. Что начинаешь видеть свои чувства, которые дают на себя глядеть, потому что почти не движутся и волнуют тебя разом и одной только своей стороной: своей удаленностью, своим стояньем в пространстве. Ты открываешь, что они подвержены перспективе...»

*Борис Пастернак — Лидии Пастернак.
Из письма 25 октября 1924*

* * *

«...По роду моей работы... мне приходится читать целыми комплектами лучшие из журналов, выходящие на трех языках. Ты даже не представляешь себе, как их много. Там попадают любопытные вещи. Я врежé себе, на них задерживаясь, так как я подряжен по количеству и скорости требуемых от меня находок...»

*Борис Пастернак — Жозефине Пастернак.
Из письма 31 октября 1924*

* * *

Но я не ведал, что проистечет
Из этих внеслужебных интересов.
На Рождестве я получил расчет,
Пути к дальнейшим розыскам отрезав.

Тогда в освободившийся досуг
Я стал писать Спекторского, с отвычки
Занявшись человеком без заслуг,
Дружившим с упомянутой москвичкой¹.

На свете былей непочатый край,
Ничем не замечательных — тем боле.
Не лез бы я и с этой, не сыграй
Статьи о ней своей особой роли.

Они упали в прошлое снопом
И озарили часть его на диво.
Я стал писать Спекторского в слепом
Повиновеньи силе объектива.

Я б за героя не дал ничего
И рассуждать о нем не скоро б начал,
Но я писал про короб лучевой,
В котором он передо мной маячил.

Про мглу в мерцаньи площадки погребной,
Которой ошибают прозы дебри,
Когда нам ставит волосы копной
Известье о неведомом шедевре.

¹ В выпущенных нами строфах был рассказ об эмигрантской поэтессе Марии Ильиной, со статьями о которой рассказчик познакомился в иностранных журналах. В образе героини романа узнаются черты Марины Цветаевой.

Про то, как ночью, от норы к норе,
Дрожа, протягиваются в дальность
Зонты косых московских фонарей
С тоской дождя, попавшего в их фокус.

Как носят капли вести о езде,
И всю-то ночь всё цокают да едут,
Стуча подковой об одном гвозде
То тут, то там, то в тот подъезд, то в этот.

Светает. Осень, серость, старость, муть.
Горшки и бритвы, щетки, папилютки.
И жизнь прошла, успела промелькнуть,
Как ночью под стук обшарпанной пролетки.

Свинцовый свод. Рассвет. Дворы в воде.
Железных крыш авторитетный тезис.
Но где тот дом, та дверь, то детство, где
Однажды мир прорезывался, грезясь?

Где сердце друга? — Хитрых глаз прищур.
Знавали ль вы такого-то? — Наслышкой.
Да, видно, жизнь проста... но чересчур.
И даже убедительна... но слишком.

Чужая даль. Чужой, чужой из труб
По рвам и шляпам шлепающий дождик,
И, отчуждением обращенный в дуб,
Чужой, как мельник пушкинский, художник.

1930

Из романа в стихах «Спекторский»

Работа над «Спекторским» не могла обеспечить Пастернаку необходимого заработка. Сгустившееся к этому времени сознание незначительности всего, написанного прежде, переросло в мысль о том, что лирическая поэзия потеряла свое значение и занятие ею не оправдано временем.

* * *

«...Ах, не сберегло меня ничто, и все, что я отдал, уже не вернется ко мне. Нет музыки и не будет, может быть еще будет поэзия, но не должно быть и ее, потому что надо существовать, а никак не ее требует современность, и придется мне импровизацию словесную также оставить, как и фортепьянную. Это та печаль, которою была окаймлена долголетняя нежность, все сохранившая, и вот выразить ее на деле, в судьбе, пришлось мне. Но не думайте, что я тут в каком-то особо плохом положении или терзаюсь миражем, призрачными страданиями. В таком положении и Андрей Белый, и многие еще, и веку не до того, что называлось литературой...

Интеллигенция испытывает на себе враждебность того косного слоя, который по социальному своему значению (крестьянство) составляет часть революции, по существу же остался верен своим вкусам допетровских времен «немецкой слободы». Все это очень любопытно с точки зрения исторической. Но дышать этой путаницей в высшей степени скользкой и двойственно-условной очень тяжело...»

*Борис Пастернак. Из письма к родителям
23 сентября 1924*



Марина Цветаева.

Эпоха войн и революций вновь, как в языческие времена, оказалась восприимчивой только к эпосу и мифу, и Пастернак обращается к историческим сюжетам революции 1905 года, к легендарной фигуре лейтенанта Шмидта. Его поддерживает живущая в эмиграции Марина Цветаева. С ней он обменивается письмами, посылает только что написанные главы поэм, посвящает ей «Лейтенанта Шмидта». Он восхищается тем, что она писала в это время, читал ее стихи и поэмы у Маяковского и в других собраниях, старался опубликовать их в советских журналах. Цветаева ждала его приезда в Чехию, писала, посвящала ему стихи.

М. Цветаева — Б. Пастернаку

* * *

Рас-стояние: версты, мили...
Нас рас-ставили, рас-садили,
Чтобы тихо себя вели,
По двум разным концам земли.

Рас-стояние: версты, дали...
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв,
И не знали, что это — сплав

Вдохновений и сухожилий...
Не рассóрили — рассорíли,
Расслоили...

Стена да ров.

Расселили нас, как орлов —

Заговорщиков: версты, дали...
Не расстроили — растеряли.
По трущобам земных широт
Рассовали нас, как сирот.

Который уж — ну который — март?!
Разбили нас — как колоду карт!

23 марта 1925

* * *

Русской ржи от меня поклон,
Ниве, где баба застится...
Друг! Дожди за моим окном,
Беды и блажи на сердце...

Ты, в погудке дождей и бед
То ж, что Гомер в гекзаметре.
Дай мне руку — на весь тот свет!
Здесь — мои обе заняты.

7 мая 1925. Вшеноры

Весной 1926 года, преодолевая чувство безысходности и душевного кризиса, Пастернак закончил поэму «Девятьсот пятый год». Главными событиями этого времени стали для него чтение цветаевской «Поэмы Конца» и полученное от отца известие о том, что его любимый поэт Райнер Мария Рильке познакомился с его стихами в маленькой русской антологии, изданной И.Эренбургом. Письмо отца пришло в тот же день, что и поэма Цветаевой. Впечатления этого дня стали одним из сильнейших переживаний в жизни Пас-

тернака. Он советовал своей сестре достать и прочесть эту поэму:

«...Ты должна там много того же услышать, что и я. Там среди бурной недоделанности среднего достоинства постоянно попадаются куски настоящего, большого, законченного искусства, свидетельствующие о талантливости, достигающей часто гениальности. Так волновали меня только Скрябин, Rilke, Маяковский, Cohen. К сожалению, я ничего почти из ее новых вещей этих лет не знаю. Мне с оказией привезли ее русскую сказку «Молодец», посвященную мне. Прекрасная романтика, но не то, что лучшие места в «Поэме Конца». Тут кое-что от меня. Но боже ты мой, в какие чудные руки это немного попало! Обязательно достань, и не для меня, а для себя одной. Все равно, послала бы, не дошло б. И тогда чувствуешь, о, в какой тягостной, но и почетной трагедии мы тут, расплачиваясь духом, играем! Такой вещи тут не написать никому. Ах, какая тоска. Какой ужасный «1905 год»! Какое у нас передвижничество!! Для чего все это, для чего я это делаю. Но постоянно так со мной не будет, ты увидишь...»

Пастернак написал письмо Рильке, где признавался в глубокой любви к его поэзии и огромном влиянии, которое она оказала на него. В письме он представил ему Марину Цветаеву как его горячую поклонницу и просил в качестве знака, что письмо дошло, написать ей в Париж. Цветаевой он ответил стихотворением, в котором слышна тревога за нее, — трагическими сценами своей «Поэмы» она ставила себя на грань самоубийства.

Несравненной поэзии
Марины Цветаевой,

„донесков, горет и
адресной“ (стр. 76)

от поклонника
и дара, отваживающего
издать эти вневски
и опилки, и титлы
капоцелое.

И. М. Пастернак

29/23
Берлин.

Поражу глаза
Дикой мыслью я —
— Это я сказал!
— Нет, мои слова.

Головой твоей
Ваня выше я
Не бывавшая
И не бывшая.

1-5.9.

* * *

Не оперные поселяне,
Марина, куда мы зашли?
Общественное гулянье
С претензиями земли.

Ну, как тут отдаться занятию,
Когда по различью путей,
Как лошади в Римском Сенате,
Мы дики средь этих детей!

Походим меж тем по поляне.
Разбито с десяток эстрад.
С одних говорят пожеланья,
С других — по желанью острят.

Послушай, стихи с того света
Им будем читать только мы,
Как авторы Вед и Заветов
И Пира во время чумы.

Но только не лезь на котурны,
Ни на паровую трубу¹,
Исход ли из гущи мишурной?
Ты их не напишешь в гробу.

Ты все еще край непочатый,
А смерть это твой псевдоним.
Сдаваться нельзя. Не печатай
И не издавайся под ним.

11 апреля 1926

¹ Здесь слышны отзвуки недавнего самоубийства С. Есенина, о котором Цветаева с помощью Пастернака собирала сведения, чтобы посвятить ему поэму. Этот замысел не был осуществлен.

В постоянном общении с Цветаевой писалось начало поэмы «Лейтенант Шмидт». Пастернак считал, что ей будут понятны задачи, которые он перед собой ставил, и она оценит, насколько это ему удалось. Лейтенант П.П. Шмидт, возглавивший восстание на Черноморском флоте в 1905 году и расстрелянный, был героем юности Цветаевой. Первоначально Пастернак открывал свою поэму «Посвящением», написанным в виде акростиха Марине Цветаевой. Посылая ей в письме текст этого посвящения, он объяснял:

«...Тут понятие (беглый дух): героя, обреченности истории, прохожденья через природу, — моей посвященности тебе. Главное же, как увидишь, это акростих с твоим именем, с чего и начал, слева столбец твоих букв, справа белый лист бумаги и беглый очерк чувства...»

* * *

Мельканье рук и ног, и вслед ему:
 «Ату его сквозь тьму времен! Резвей,
 Реви рога! Ату! А то возьму
 И брошу гон и ринусь в сон ветвей».
 Но рог крушит сырую красоту
 Естественных, как листья леса, лет.
 Царит покой, и что ни пень — Сатурн:
 Вращающийся возраст, круглый след.
 Ему б уплыть стихом во тьму времен:
 Такие клады в дуплах и во рту.
 А тут носи из лога в лог: ату!
 Естественный, как листья леса, стон.

Век, отчего травить охоты нет?
 Ответ листвою, стволами, сном ветвей
 И ветром и травю мне и ей.

1926

Несмотря на краткое объяснение, которое дал Пастернак этому стихотворению, где писание исторической поэмы уподоблено погоне за ускользающим, как олень, героем, Цветаева, при всей восприимчивости, которую так ценил в ней Пастернак, не поняла его до конца. Ее неуверенность в трактовке сказалась в вопросах, которыми она испещрила свое объяснение.

«...Твой чудесный олень с лейтмотивом «естественный». Я слышу это слово курсивом, живой укоризной всем, кто **не**. Когда олень рвет листья рогами — это естественно (ветвь — рог — сочтутся). А когда вы с электрическими пилами — нет. Лес — мой. Лист — мой. (Так я читала?) И зеленый лиственный костер над всем. — Так?»

Пастернак представляет историю в виде леса, через который несетя охота, возникающие на каждом шагу картины природы («что ни пенёк — Сатурн») увлекают лирического поэта красотой и желанием бросить «гон» и отдаться своему прямому интересу погружения в «глубь времен» или в глубину хода естественной жизни. Но вовлеченность («обреченность») в историю не дает ему этой возможности, и «рог» здесь не «рог оленя», а охотничий, нарушающий «сырую красоту» естественного течения истории («лет»).

Вопросы Цветаевой остались неотвеченными, потому что вскоре ей была послана рукопись первой части поэмы, резко ей не понравившаяся. Она писала:

«...Мой родной Борис, первый день месяца и новое перо.

Беда в том, что взял Шмидта, а не Каляева (слова Се-режи, не мои¹) героя времени (безвременья!), а не героя древности, нет еще точнее — на этот раз заимствую у Степуна: жертву мечтательности, а не героя мечты. Что такое Шмидт — по твоей документальной поэме: Русский интеллигент, перенесший 1905 г. Не моряк совсем, до того интеллигент (вспомни Чехова «В море»), что столько-то лет плаванья не отучили его от интеллигентского жаргона. Твой Шмидт студент, а не моряк. Вдохновенный студент конца девяностых годов.

Борис, не люблю интеллигенции, не причисляю себя к ней, сплошь *пенснейной*. Люблю дворянство и народ, цветение и корни, Блока синевы и Блока просторов. Твой Шмидт похож на Блока-интеллигента. Та же неловкость шутки, та же невеселость ее.

В этой вещи меньше тебя, чем в других, ты, огромный, в тени этой маленькой фигуры, заслонен ею. Убеждена, что письма почти дословны, — до того не твои. Ты дал человеческого Шмидта, в слабости естества, трогательного, но такого безнадежного...

*Марина Цветаева — Борису Пастернаку.
Из письма 1 июля 1926*

¹ Передавая мнение своего мужа С. Я. Эфрона, который видел героя не в Шмидте, а в народовольце и террористе Иване Каляеве, совершившем убийство Великого князя Сергея Александровича, Цветаева высказывает непонимание основного настроя поэмы Пастернака, посвященной человеку, возглавившему дело, в успех которого он не верил, только ради того, чтобы, жертвуя собой, снять вину инициативы со своих товарищей и спасти несчастных от расстрела.



Борису Пастернаку — чудесному
поэту и самому ценному
человеку в С.С.С.Р.

Анна Ахматова

1929. 16 апр.

А. Ахматова. Дарственная надпись на фотографии.

Для окончания растянувшейся на годы работы над «Спекторским» Пастернак считал нужным «часть фабулы в романе, приходящуюся на военные годы и революцию», передать прозе, «потому что характеристики и формулировки, в этой части более обязательные и разумеющиеся, стиху не под силу». С этой целью весной 1929 года он засел за повесть, параллельно с которой стали появляться стихи. Посылая стихотворение Анне Ахматовой, он писал:

«...Я третий месяц очень усиленно работаю над большой повестью, которую пишу с верой в удачу. Я недавно болел, но не прерывал работы. Мне очень хорошо. Далекий от мысли, что я это осуществляю, я вновь, как бывало, умилен до крайности всем тем, что человеку дано почувствовать и продумать. Мне некуда девать это умиление, повесть потеряла бы в плотности, если бы я все это излил на нее одну. Мне приходится исподволь писать стихи. Их теперь, в моем возрасте, я понимаю как долговую расплату с несколькими людьми, наиболее мне дорогими, потому что конечно, именно они — истинные адресаты, к которым должно быть обращено это умиление. Я хочу написать стихотворенье Марине, Вам, Мейерхольдам, Жене и Ломоносовой, нашей заграничной приятельнице...»

АННЕ АХМАТОВОЙ

Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на вашу первозданность,
А ошибусь, — мне это трын-трава,
Я все равно с ошибкой не расстанусь.

Я слышу мокрых кровель говорок,
Торцовых плит заглохшие эклоги.
Какой-то город, явный с первых строк,
Растет и отдается в каждом слоге.

Кругом весна, но за город нельзя.
Еще строга заказчица скупая.
Глаза шитьем за лампою слезя,
Горит заря, спины не разгибая.

Вдыхая дали ладожскую гладь,
Спешит к воде, смиряя сил упадок.
С таких гулянок ничего не взять.
Каналы пахнут затхлостью укладок.

По ним ныряет, как пустой орех,
Горячий ветер и колышет веки
Ветвей и звезд, и фонарей, и вех,
И с моста вдаль глядящей белошвейки.

Бывает глаз по-разному остёр,
По-разному бывает образ точен.
Но самой страшной крепости раствор —
Ночная даль под взглядом белой ночи.

Таким я вижу облик ваш и взгляд.
Он мне внушен не тем столбом из соли,
Которым вы пять лет тому назад
Испуг оглядки к рифме прикололи¹.

¹ Стихотворение А. Ахматовой «Лотова жена».

Но, исходяв из ваших первых книг,
Где крепили прозы пристальной крупницы,
Он и во мне, как искры проводник,
Событья былью заставляет биться.

1929

* * *

«...Вы знаете, с какой силой живете во мне, как во всяком, и насколько это лишь естественно, не более того. К этому знанию стихотворение ничего не прибавляет. Затем ясно ли, что речь идет об особом складе электрической силы, которая выражена не только в «Лотовой жене», и не в образе соляного столба только, а исходит от Вас всегда и никогда не перестанет исходить...»

Борис Пастернак — Анне Ахматовой.
Из письма 6 марта 1929

Стихотворение «Лотова жена» было явным признанием Ахматовой в своей тоске по прошлому. Напоминая ей о ее поэтических возможностях, о «повествовательной свежести» ее первых книг, Пастернак хотел оградить ее от безысходности и помочь ей найти в себе силы преодолеть творческое молчание.

Анна Ахматова переживала трудное время критических нападков. Ее поэзия рассматривалась как пережиток прошлого. Ее стихи не издавались, она бедствовала и молчала.

Ответом Ахматовой на послание Пастернака стало стихотворение 1936 года, с которого у нее после большого перерыва, по ее словам, «пошли стихи».

БОРИС ПАСТЕРНАК

Он, сам себя сравнивший с конским глазом,
Косится, смотрит, видит, узнает,
И вот уже расплавленным алмазом
Сияют лужи, изнывает лед.

В лиловой мгле покоятся задворки,
Платформы, бревна, листья, облака.
Свист паровоза, хруст арбузной корки,
В душистой лайке робкая рука.

Звенит, гремит, скрежещет, бьет прибоем
И вдруг притихнет, — это значит, он
Пугливо пробирается по хвоям,
Чтоб не спугнуть пространства чуткий сон.

И это значит, он считает зерна
В пустых колосьях, это значит, он
К плите дарьяльской, проклятой и черной,
Опять пришел с каких-то похорон.

И снова жжет московская истома,
Звенит вдали смертельный бубенец —
Кто заблудился в двух шагах от дома,
Где снег по пояс и всему конец...

За то, что дым сравнил с Лаокооном,
Кладбищенский воспел чертополох,
За то, что мир наполнил новым звоном
В пространстве новом отраженных строф,

Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.

1936

* * *

«...преобладанье грозových начал в атмосфере века сообщило ее творчеству налет гражданской значительности. Эта патриотическая нота, особенно дорогая нам сейчас, выделяется у Ахматовой совершенным отсутствием напыщенности и напряжения. Вера в родное небо и верность родной земле прорываются у нее сами собой с естественностью природной походки...»

Борис Пастернак.
Из статьи «Избранное» Анны Ахматовой». 1943

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

Ты вправе, вывернув карман,
Сказать: ищите, ройтесь, шарьте.
Мне все равно, чем сыр туман.
Любая быль — как утро в марте.

Деревья в мягких армяках
Стоят в грунту из гумигута¹,
Хотя ветвям наверняка
Невмоготу среди закута.

¹ Желто-зеленая краска.

Роса бросает ветки в дрожь,
Струясь, как шерсть на мериносе.
Роса бежит, тряся, как еж,
Сухой копной у переносья.

Мне все равно, чей разговор
Ловлю, плывущий ниоткуда.
Любая быль — как вешний двор,
Когда он дымкою окутан.

Мне все равно, какой фасон
Сужден при мне покрою платьев.
Любую быль сметут как сон,
Поэта в ней законопатив.

Клубясь во много рукавов,
Он двинется, подобно дыму,
Из дыр эпохи роковой
В иной тупик непроходимый.

Он вырвется, курясь, из прорв
Судеб, расплющенных в лепеху,
И внуки скажут, как про торф:
Горит такого-то эпоха.

1929

М. Цветаева — Б. Пастернаку

* * *

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно —
Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь или казарма.

Мне все равно, каких среди
Лиц ошестиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной — непременно —

В себя, в единоличье чувств
Камчатским медведём без льдины,
Где не ужиться (и не тшусь!),
Где унижаться — мне едино.

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично, на каком
Непонимаемой быть встречным!

(Читателем, газетных тонн
Глотателем, доильцем сплетен...)
Двадцатого столетья — он,
А я — до всякого столетья!

Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,
Мне все — равны, мне всё — равно,
И, может быть, еще равнее —

Роднее бывшее — всего.
Все признаки с меня, все меты,
Все даты — как рукой сняло:
Душа, родившаяся — где-то.

Так край меня не уберег
 Мой, что и самый зоркий сыщик
 Вдоль всей души, всей — поперек!
 Родимого пятна *не* сыщет!

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
 И все — равно, и все — едино.
 Но если по дороге — куст
 Встает, особенно — рябина...

1934

ВМЕСТО СТИХОТВОРЕНИЯ (Акrostих)

Мгновенный снег, когда булыжник узрен,
 Апрельский снег, оплошливый снежок!
 Резвись и тай, — земля как пончик в пудре,
 И рой огней — как лакомки ожог.

Несись с небес, лишай деревья весу,
 Ерошь березы, швабрами шурша.
 Ценители не смыслят ни бельмеса,
 Враги уйдут, не взявши ни шиша.

Ежеминутно можно глупость ляпнуть,
 Тогда прощай охулка и хвала!
 А ты, а ты, бессмертная внезапность,
 Еще какого случая ждала?

Ведь вот и в этом диком снеге летом
 Опять поэта оторопь и статья —
 И не всего ли подлиннее в этом?
 — как знать?

1929

МЕЙЕРХОЛЬДАМ

Желоба коридоров иссякли.
Гул отхлынул и сплыл, и заглох.
У окна, опоздавши к спектаклю,
Вяжет выюга на хлопьев чулок.

Рытым ходом за сценой залягте,
И, обуглясь у всех на виду,
Как дурак, я зайду к вам в антракте,
И смешаясь, и слов не найду.

Я увижу деревья и крыши.
Вихрем кинутся мушки во тьму.
По замашкам зимы-замухрышки
Я игру в кошки-мышки пойму.

Я скажу, что от этих ужимок
Еле цел я остался внизу,
Что пакет развязался и вымок
И что я вам другой привезу.

Что от чувств на земле нет отбою,
Что в руках моих — плеск из фойе,
Что из этих признаний — любое
Вам обоим, а лучшее — ей.

Я люблю ваш нескладный развалец,
Жадной проседи взбитую прядь.
Если даже вы в это выигрались,
Ваша правда, так надо играть.

Так играл пред землей молодою
Одаренный один режиссер,



Б. Пастернак и В. Мейерхольд.
Фото Руйковича. 1936 г.

Что носился как дух над водою
И ребро сокрушенное тер.

И протиснувшись в мир из-за дисков
Наобум размещенных светил,
За дрожащую руку артистку
На дебют роковой выводил.

Той же пьесою неповторимой,
Точно запахом краски дыша,
Вы всего себя стерли для грима.
Имя этому гриму — душа.

1928

* * *

«Дорогой Всеволод Эмильевич! Жалею, что заходил к Вам вчера в антрактах. Ничего путного я Вам не сказал, да иначе было бы и неестественно... Когда меня касается дыхание истинного дара, оно превращает меня в совершенного мальчика, ничем не искушенного, я беззаветно привязываюсь к произведению, робею автора, точно никогда не жил и жизни не знаю, и чаще меры тянусь за носовым платком... Я преклоняюсь перед Вами обоими и пишу Вам обоим, и завидую Вам, что Вы работаете с человеком, которого любите...

*Борис Пастернак — Всеволоду Мейерхольду.
Из письма 26 марта 1928*

Стихотворение обращено к В. Мейерхольду и его жене, актрисе Зинаиде Николаевне Райх, и написано после посещения спектакля «Горе уму». Оно

должно было поддержать Мейерхольда, на которого и на его жену З. Н. Райх обрушились несправедливые критические нападки. Образ режиссера как творца мира и создателя человека, возникающий в последних строфах стихотворения, соотносится с первыми главами Книги Бытия.

Цикл стихотворных посвящений объединяло горячее сочувствие людям, чья судьба нуждалась в поддержке: Ахматовой, Цветаевой, Мейерхольдам. При подготовке книги к ним прибавились написанное ранее, к пятидесятилетнему юбилею, стихотворение Брюсову и несколько позже — Пильняку.

БРЮСОВУ

Я поздравляю вас, как я отца
Поздравил бы при той же обстановке.
Жаль, что в Большом театре под сердца
Не станут стлать, как под ноги, циновки.

Жаль, что на свете принято скрести
У входа в жизнь одни подошвы; жалко,
Что прошлое смеется и грустит,
А злоба дня размахивает палкой.

Вас чествуют. Слегка страшит обряд,
Где вас, как вещь, со всех сторон покажут
И золото судьбы посеребрят,
И, может, серебрить в ответ обяжут.

Что мне сказать? Что Брюсова горька
Широко разбежавшаяся участь?

Что ум черствеет в царстве дурака?
Что не безделка — улыбаться, мучась?
Что сонному гражданскому стиху
Вы первый настежь в город дверь открыли?
Что ветер смел с гражданства шелуху
И мы на перья разодрали крылья?
Что вы дисциплинировали взмах
Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной,
И были домовым у нас в домах
И дьяволом недетской дисциплины?
Что я затем, быть может, не умру,
Что, до смерти теперь устав от гили,
Вы сами, было время, поутру
Линейкой нас не умирать учили?
Ломиться в двери пошлых аксиом,
Где лгут слова и красноречье храмлет?..
О! Весь Шекспир, быть может, только в том,
Что запросто болтает с тенью Гамлет.
Так запросто же! Дни рожденья есть.
Скажи мне, тень¹, что ты к нему желала б?
Так легче жить. А то почти не снести
Пережитого слышащихся жалоб.

1923

¹ На юбилейном вечере 15 декабря 1923 года в ответ на официальные поздравления Брюсов привел цитату из стихотворения А. А. Фета «На 50-летие музыки»:

Нас отпевают. В этот день
Никто не подойдет с хулою.
Всяк благодарною хвалою
Немую провожает тень.

БОРИСУ ПИЛЬНЯКУ

Иль я не знаю, что, в потемки тычась,
Вовек не вышла б к свету темнота,
И я — урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?

И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не поднимаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

1931

Конец двадцатых годов был исторически тяжелым, жестким временем. У Пастернака появилось чувство конца творческих и жизненных возможностей. «Последним годом поэта» назвал он 1929 год в «Охранной грамоте». Эту, «из века в век повторяющуюся странность», применительно к Маяковскому и Пушкину 1836 года, он характеризовал так:

«...Вдруг кончают не поддававшиеся завершёнью замыслы. Часто к их недовершенности ничего не прибавляют, кроме новой и только теперь допущенной уверенности, что они завершены. И она передается потомству.

Меняют привычки, носятся с новыми планами, не

нахвалятся подъемом духа. И вдруг — конец, иногда насильственный, чаще естественный, но и тогда, по нежеланию защищаться, очень похожий на самоубийство...

Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима, в нем мороз. Визгливый, ивового плетенья двадцатиградусный воздух как на вбитых сваях стоит поперек дороги. Все туманится, все закатывается и запропащается в нем. Но разве бывает так грустно, когда так радостно? Так это не второе рождение? Так это смерть?»

Те же полные трагического недоумения вопросы со всей остротой стояли в это время перед Пастернаком.

«...Я стал отягощать искусство прощальными теоретическими вставками, вроде завещательных истин, в каком-то не оставляющем меня чаянии моего близкого конца, либо полного физического, либо частичного и естественного, либо же, наконец, невольно-условного».

*Борис Пастернак — Лидии Пастернак.
Из письма 26 февраля 1930*

* * *

Рослый стрелок, осторожный охотник,
Призрак с ружьем на разливе души!
Не добирай меня сотым до сотни,
Чувству на корм по частям не кроши.

Дай мне подняться над смертью позорной.
С ночи одень меня в тальник и лед.
Утром спугни с мочажины озерной.
Целься, все кончено! Бей меня влёт.

За высоту ж этой звонкой разлуки,
О пренебрегнутые мои,
Благодарю и целую вас, руки
Родины, робости, дружбы, семьи.

1928

«...Начало апреля застало Москву в белом осто-
бененьи вернувшейся зимы. Седьмого стало вторич-
но таять, и четырнадцатого, когда застрелился Мая-
ковский, к новизне весеннего положенья еще не все
привыкли...»

*Борис Пастернак.
Из «Охранной грамоты»*

СМЕРТЬ ПОЭТА

Не верили, считали — бредни,
Но узнавали: от двоих,
Троих, от всех. Равнялись в стрóку
Остановившегося срока
Дома чиновниц и купчих,
Дворы, деревья и на них
Грачи, в чаду от солнцепека
Разгоряченно на грачих
Кричавшие, чтоб дуры впредь не
Совались в грех.

И как намедни
Был день. Как час назад. Как миг

Назад. Соседний двор, соседний
Забор, деревья, шум грачих.

Лишь был на лицах влажный сдвиг,
Как в складках порванного бредня.

Был день, безвредный день, безвредней
Десятка прежних дней твоих.
Толпились, выстроаясь в передней,
Как выстрел выстроил бы их.

Как, сплющив, выплеснул из стока б
Лещей и шуку минный вспых
Шутих, заложенных в осоку,
Как вздох пластов нехолостых.

Ты спал, постлав постель на сплетне,
Спал и, оттрепетав, был тих, —
Красивый, двадцатидвухлетний,
Как предсказал твой тетраптих.

Ты спал, прижав к подушке щеку,
Спал, — со всех ног, со всех лодыг
Врезаясь вновь и вновь с наскоку
В разряд преданий молодых.

Ты в них врезался тем заметней,
Что их одним прыжком достиг.
Твой выстрел был подобен Этне
В предгорьи трусов и трусих.

Друзья же изошрялись в спорах,
Забыв, что рядом — жизнь и я.

Так что ж еще? Что ты припер их
К стене, и стер с земли, и страх
Твой порох выдает за прах?

Но мрази только он и дорог.
На то и рассуждений ворох,
Чтоб не бежала за края
Большого случая струя,
Чрезмерно скорая для хворых.

Так пошлость свертывает в творог
Седые сливки бытия.

1930

* * *

«...Он лежал на боку, лицом к стене, хмурый, рослый, под простыней до подбородка, с полуоткрытым, как у спящего, ртом. Горделиво ото всех отвернувшись, он даже лежа, даже и в этом сне упорно куда-то порывался и куда-то уходил. Лицо возвращало к временам, когда он сам назвал себя красивым, двадцатидвухлетним, потому что смерть заостренила мишуру, почти никогда не попадающуюся ей в лапы. Это было выражение, с которым начинают жизнь, а не которым ее кончают. Он дулся и негодовал...

Вдруг внизу, под окном, мне вообразилась его жизнь, теперь уже начисто прошлая. Она пошла вбок от окна в виде какой-то тихой, обсаженной деревьями улицы, вроде Поварской. И первым на ней у самой стены стало наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство. Оно стояло внизу, его можно было кликнуть и взять за руку. В своей осяза-

тельной необычайности оно чем-то напоминало покойного. Связь между обоими была так разительна, что они могли показаться близнецами.

И тогда я с той же необязательностью подумал, что этот человек был, собственно, этому гражданству единственным гражданином. Остальные боролись, жертвовали жизнью и создавали или же терпели и недоумевали, но все равно были туземцами истекшей эпохи и, несмотря на разницу, родными по ней земляками. И только у этого новизна времен была климатически в крови...»

Борис Пастернак. Из «Охранной грамоты»

Смерть Маяковского предельно усугубила мрак, в котором находился Пастернак последний год, и подтвердила его безысходность. Прощаясь с Маяковским, он прощался со своей молодостью, со всем тем, что наполняло его жизнь и служило оправданием, прощался с искусством. Это событие подтолкнуло его давнишнее желание съездить за границу, повидать родителей и, может быть, Марину Цветаеву. Но, начав хлопоты, он вскоре убедился, что разрешения ему не дают. В крайности он решил просить помощи Горького.

«...До этой зимы у меня было положено, что как бы ни тянуло меня на запад, я никуда не двинусь, пока начатого не кончу. Я соблазнял себя этим, как обещанной наградой, и только тем и держался. Но теперь чувствую, — обольщаться нечем. Ничего этого не будет, я переоценил свою выдержку, а может быть, и свои силы. Ничего стоящего я не сделаю, никакие отсрочки не помогут. Что-то оборвалось



В. Маяковский в гробу. 1930 г.

внутри, и я не знаю, — когда; но почувствовал я это недавно. Я решил не откладывать. Может быть, поездка поправит меня, если это еще не полный душевный конец. Я произвел кое-какие попытки и на первых же шагах убедился, что без Вашего заступничества разрешения на выезд мне не получить. Помогите мне, пожалуйста, — вот моя просьба...»

*Борис Пастернак — М. Горькому.
Из письма 31 мая 1930*

Горький ответил отказом:

«...Просьбу Вашу я не исполню и очень советую Вам не ходатайствовать о выезде за границу, — подождите!...»

Лишившись возможности поехать в Германию, Пастернак присоединился к поездке своих друзей в Ирпень под Киевом. В год «великого перелома», то есть коллективизации деревни, ждали голода и надеялись, что на Украине будет сытнее. Удобные комнаты, казавшиеся раем по сравнению с московской скученностью коммунальной квартиры, успешная работа, окончание «Спекторского» в сочетании с оживленными разговорами с друзьями позволили Пастернаку по-новому взглянуть на окружающее.

Сложилась живая атмосфера общения с людьми, высоко ценившими и любившими его. Это были замечательный музыкант Г. Г. Нейгауз с красавицей женой и детьми, глубокий историк философии В. Ф. Асмус, тоже с женой и дочерью, семья младшего брата Александра и его шурин, историк литературы и германист Н. Н. Вильям-Вильмонт. Сочетание музыки в блестящем исполнении Нейгауза,

легкости и артистичности его характера с глубокомыслием Асмуса и красноречием Вильям-Вильмонта представляли истинным праздником братства, которому век назад поклонялись поэты пушкинской поры. Столетие Болдинской осени и маленькой трагедии Пушкина «Пир во время чумы» рождало непосредственные ассоциации с картинами «сплошной коллективизации», полным ходом шедшей вокруг. Недавняя гибель Маяковского, чтение и разбор его стихов вызывали мысли о бессмертии из диалогов Платона.

ЛЕТО

Ирпень — это память о людях и лете,
О воле, о бегстве из-под кабалы,
О хвое на зное, о сером левкое
И смене безветрия, вёдра и мглы.

О белой вербене, о терпком терпеньи
Смолы; о друзьях, для которых малы
Мои похвалы и мои восхваленья,
Мои славословья, мои похвалы.

Пронзительных иволог крик и явление
Китайкой и углем желтило стволы,
Но сосны не двигали игол от лени
И белкам и дятлам сдавали углы.

Сырели комоды, и смену погоды
Древесная квакша вещала с сучка,
И балка у входа ютила удода,
И, детям в угоду, запечье — сверчка.

В дни съезда шесть женщин топтали луга.
Лениво паслись облака в отдаленьи.
Смеркалось, и сумерек хитрый маневр
Сводил с полутьмою зажженный репейник,
С землею — саженные тени ирпенек
И с небом — пожар полосатых панёв.

Смеркалось, и, ставя простор на колени,
Загон горизонта смыкал полукруг.
Зарницы вздымали рога по-оленьи,
И с сена вставали и ели из рук
Подруг, по приходе домой тем не мене
От жуликов дверь запиравших на крюк.

В конце, пред отъездом, ступая по кипе
Листвы облетелой в жару бредовом,
Я с неба, как с губ, перетянутых сыпью,
Налет недомолвок сорвал рукавом.

И осень, дотоле вопившая выпью,
Прочистила горло; и поняли мы,
Что мы на пиру в вековом прототипе —
На пире Платона во время чумы.

Откуда же эта печаль, Диотима?¹
Каким увереньем прервать забытье?
По улицам сердца из тьмы нелюдимой!
Дверь настезь! За дружбу, спасенье мое!

¹ Диотима — «сведущая женщина» из диалога Платона «Пир», под ее именем выведена здесь жена Асмуса Ирина Сергеевна.

И это ли происки Мэри-арфистки¹,
Что рока игрою ей под руки лег
И арфой шумит ураган аравийский,
Бессмертья, быть может, последний залог.

1930

* * *

«...А лето было восхитительное, замечательные друзья, замечательная обстановка. И то, с чем я прощался в весеннем письме к вам, — работа, вдруг как-то отошла на солнце, и мне давно, давно уже не работалось так, как там, в Ирпене. Конечно — мир совершенной оторванности и изоляции, вроде одиночества Гамсуновского Голода, но мир здоровый и ровный...»

*Борис Пастернак — Ольге Фрейденберг.
Из письма 20 октября 1930*

В 1950-х годах во время работы над романом «Доктор Живаго» Пастернак вспоминал время своей страстной влюбленности в Зинаиду Николаевну Нейгауз, которая охватила его летом 1930 года, в атмосфере противоречивых чувств окружавшей и подступавшей гибели и несчастья. Это он выразил в романе, говоря о влечении Юрия Живаго к Ларе.

¹ Мэри — персонаж из «Пира во время чумы» Пушкина, под ее именем выведена жена Нейгауза Зинаида Николаевна.

Открытость характера не позволяла Пастернаку делать тайны из своего увлечения. Зинаида Николаевна вспоминала:

«...Вскоре по приезде в Москву он пришел к нам в Трубниковский. Он зашел в кабинет к Генриху Густавовичу, закрыл дверь, и они долго беседовали. Когда он ушел, я увидела по лицу мужа, что что-то случилось. На рояле лежала рукопись двух баллад. Одна была посвящена мне, другая Нейгаузу. Оба стихотворения мне страшно понравились. Генрих Густавович запер дверь и сказал, что ему надо серьезно со мной поговорить. Оказалось, что Борис Леонидович приходил сказать ему, что он меня полюбил и это чувство у него никогда не пройдет. Он еще не представлял себе, как все это сложится в жизни, но он вряд ли сможет без меня жить. Они сидели и плакали, оттого, что очень любили друг друга и были дружны.

Я рассмеялась и сказала, что все это не серьезно. Я просила мужа не придавать этому разговору никакого значения, говорила, что этому не верю, а если это правда, то все скоро пройдет...»

* * *

Красавица моя, вся статья,
Вся суть твоя мне по сердцу,
Вся рвется музыкаю статья,
И вся на рифмы просится.

А в рифмах умирает рок,
И правдой входит в наш мирок
Мирв разноголосица.

И рифма не вторенье строк,
А гардеробный номерок,
Талон на место у колонн
В загробный гул корней и лон.

И в рифмах дышит та любовь,
Что тут с трудом выносится,
Перед которой хмурят бровь
И морщат переносицу.

И рифма не вторенье строк,
Но вход и пропуск за порог,
Чтоб сдать, как плащ за бляшкою
Болезни тяжесть тяжкую,
Боязнь огласки и греха
За громкой бляшкою стиха.

Красавица моя, вся суть,
Вся стать твоя, красавица,
Спирает грудь и тянет в путь,
И тянет петь и — нравится.

Тебе молился Поликлет.
Твои законы изданы.
Твои законы в дальях лет.
Ты мне знакома издавна.

1931

* * *

«...Я оставил семью, жил одно время у друзей (и у них кончил «Охранную грамоту»), теперь у других (в квартире Пильняка), в его кабинете. Я ничего не могу сказать, потому что человек, которого я



З. Н. Пастернак.

люблю, не свободен, и это жена друга, которого я никогда не смогу разлюбить. И все-таки это не драма, потому что радости здесь больше, чем вины и стыда...»

*Борис Пастернак — Сергею Спасскому.
Из письма 15 февраля 1931*

* * *

Любимая, — молвы слащавой,
Как угля, вездесуща гарь.
А ты — подспудной тайной славы
Засасывающий словарь.

А слава — почвенная тяга.
О, если б я прямей возник!
Но пусть и так, — не как бродяга,
Родным войду в родной язык.

Теперь не сверстники поэтов,
Вся ширь проселков, меж и лех
Рифмует с Лермонтовым лето
И с Пушкиным гусей и снег.

И я б хотел, чтоб после смерти,
Как мы замкнемся и уйдем,
Тесней, чем сердце и предсердьё,
Зарифмовали нас вдвоем.

Чтоб мы согласья сочетаньем
Застлали слух кому-нибудь
Всем тем, что сами пьем и тянем
И будем ртами трав тянуть.

1931

Борис Пастернак — Зинаиде Нейгауз

30 апреля 1931.

Родная моя, удивительная, бесподобная, большая, большая! Сегодня тридцатое, сейчас утро. Мне хочется все это запомнить. Все ушли из дому, я один с Аидой в Борисовой квартире¹. Вчера были гости, утром стол стоял еще раздвинутый на две доски под длинной белой скатертью, весь солнечный, заставленный серебром и зеленым стеклом, с двумя горшками левкоев, дверь на балкон была открыта, там тоже было солнце, стекло и зелень.

Через час я пойду к Жене и проведу у нее часть дня, больше, чем бывал там эти месяцы, когда забегал к ней редко и лишь на минутку.

Этим начнется наше прощание с ней. Я не знал, что оно будет так легко. Что оно будет ясною спокойной весной, среди стихов, вызванных чем-либо столь огромным, маловероятным, очевидным, как ты, со взглядом, открыто и просто вперенным в наше время, с такою верой в землю и ее смысл.

Я не знал, что перед разлукой с ней буду полон чем бы то ни было подобным тебе, — буду переполнен тобою — буду разливать тебя, упрощающую все до полного счастья, — все, чего касается твое влияние, все, на что падает твоя волна. Я не знал, что буду избавлен при прощании от душевных подмен, от легкости нелюбви или прирожденного бесчувствия, — но что это будет ничем не омраченное светлое

¹ Пастернак ушел из своей квартиры на Волхонке и жил в это время у Бориса Пилыняка в его доме на Ямском поле. Аида — имя собаки Пилыняка, большого египетского дога.

прощанье с дорогим: в *мире, равном себе везде*,
везде живым и милостивым, равном себе без конца,
верном и полном тобою...

12 мая 1931.

Сейчас вернулся¹, телеграмму отправил. Все время вижу вас обоих, тебя и Адика, с закатом, англичанином и пр. Как чудесны эти первые часы пути, когда так облагораживающе сказывается усталость и вдруг получаешь право молчать, сидеть на мягком диване и засматриваться на быстро сменяющиеся картины — право, как бы заслуженное суматохой сборов и волнениями большого, рано начавшегося дня. Природа в дороге кажется наградой, которой тебя признали достойным, это возвышает и трогает — почти что подымаешься в собственном мнении, — ты замечала?..

А когда возвращаюсь на Волхонку, вижу Женю. Я вижу ее превращающим взглядом разлуки, и она у меня получается такой, какой была гимназисткой — прелестной, беззащитной, принимающей на себя мир, как дуновение ветра или тень, а не вонзающей в него взгляд, или замысел, или деятельное желанье. И сердце исходит у меня болью о ней. О ней, а не по ней. Вот в том-то и дело, что ты есть, а то — должно было быть, и это не теперь, а было всегда. И это не в укор ей. Я мало знал людей, которых бы так стоило и надо было бы любить, как ее, — и не за нравствен-

¹ Пастернак провожал уезжавшую в Киев Зинаиду Николаевну со старшим сыном Адиком (Адрианом).

ные только качества, а и за внешность: за историю ее внешности, за судьбу ее внешности и ее метаморфоз.

Но так именно и любит большинство людей. Любят любовью дополняющей, довоспитывающей, отделяются завесой взаимных снисхождений от природы и именно эту завесу зовут жизнью. Любят впрок за то, что набегут года и привычки и осядут прошлым, и прошлого будет так много, что оно станет многотомной людской повестью, будет чем зачитываться и что вспоминать, *любят за людскую повесть*, которую пишет время, пишет независимо от того, о ком ее пишет и как бы ни были малы описываемые и их помощь пишущему. И сами ничего не делают. Вечно делают за другого и ждут, что он будет делать за тебя, и эту взаимопомощь, извиняющую несовершенство, зовут любовью, а поклоненье несовершенству — нравственностью. Большинство любит любовью должной, а не той, которая есть.

Больше всего меня поразило, что объем моего чувства к тебе существовал раньше, чем я его измерил, что я любил уже тебя до того, как полюбить. Его не надо было хотеть, звать или желать. Твоей самодеятельной красоте не надо было помогать. Она сама пробарабанила мне тогда во сне невероятную радость того, что ты существуешь: что в Ирпене есть дачник, которого Ирина Сергеевна и Женя стали встречать раньше, чем увидал его я, и этот дачник — мое чувство к тебе, моя судьба с тобою, тогда еще неизвестная. Это, с немыслимой чистотой, была любовь, которая есть, а не должна быть...

28 мая 1931.

Лялюся, золото мое!

Двенадцать часов, пишу тебе перед сном, вижу тихий твой дворик¹, а под окном бредовая, полная грохота и пыли, даже и ночью, — Москва.

Лялечка, к вечеру в дороге мне стало невозможно тоскливо без тебя, мне так стало потому, что день был легкий, облачный, мы ехали лесами, перед тем освеженными дождем, одуряюще пахло березой, и соловьи заглушали шум поезда — и вот эта благодатная немучительность обычно мучительного пути и это свищущее наслаждение, просыревшее до недр и звонкое на версты, переполняло тою же благодарностью, что и ты, и я не знал, куда деваться от нежности к тебе: я чуть не плакал от головокружительной, выпрямляющейся во весь твой цвет, и рост, и голос тоски и взял письмо твое, единственное полученное в Москве перед отъездом (я возил его с собой в Киев), и как ложиться спать, положил его на грудь под рубашку.

Лялечка, страсть к тебе есть огромное, заплаканное, безмолвно ставящее людей на колени знание, и любить значит любить тебя, любить же тебя значит существовать в посланничестве, в посланничестве ночи, леса и соловьиного свиста.

Милая, жизнь моя, ты — моя жизнь впервые непререкаемая, как до сих пор — в одиночестве. А по приезде нашел несколько писем на столе, и среди них твои. О, ведь их два, а ты не сказала мне, и я ждал одного! Чтоб никогда, никогда ты больше не

¹ Пастернак только что вернулся из Киева, куда съездил навестить Зинаиду Николаевну.

касалась своего почерка и тем паче своего голоса в письмах! Ты знаешь, первое по времени так потрясло меня, что, не вскрывая второго, я бросился по телефону упрямивать, чтобы освободили меня от Магнитогорска¹. Ты знаешь, я бы остался в Москве, но вдвоем с тобою, без отвлекающего соседства спутников и впятером обсуждаемых дорожных впечатлений. И моими мольбами так прониклись, что отказали не сразу, а в некотором страхе за мой рассудок пообещали сделать все возможное и дать ответ к вечеру. Теперь я знаю: переделать этого нельзя, — говорят, вся бригада бы развалилась и никто бы не поехал. Наверное, врут, я ничего не понимаю тут — факт тот, что меня непустили. Но позволили, если мне станет невтерпеж, прервать поездку и даже улететь назад на аэроплане. Этому придают какое-то политическое значение. Но на совещанье я предупредил, чтобы ничего «нового» от меня не ждали, что я еду с готовой и очень личной верностью жизни и лопать поэта в себе (тебе) не собираюсь, как бы ни было велико строительство, которое увижу...

Милая белая милота моя, бездонно чистая, скромная, покорная, равная, достойная, захватывающая, тихая, тихая — золотая моя! Я все силы приложу, чтобы Лялик поехал с нами². Пока об этом ни слова. Я не знаю, когда буду назад и как все сложится.

¹ Пастернак вечером этого же дня отправлялся в составе писательской бригады в командировку на ударные стройки в Магнитогорск.

² Разговор идет о будущей совместной поездке на Кавказ. Лялик (Станислав) — младший, четырехлетний сын Зинаиды Николаевны.

Тогда видно будет, я ли с ним заеду за тобой в Киев или ты за нами сюда. Но путешествие с ним будет для меня настоящей радостью, и ты увидишь, как я с этим справлюсь! Но письма твои!!! Как мне это сказать, чтобы ты поверила? Ты пишешь так чудно, как мне не дано в мечтах: я хотел бы уметь так выражать себя, так нерастраченно-полно, сдержанно-взрывчато, грустно-содержательно. Ты меня многому научишь. Мы удивительно суждены друг другу: тут что-то настолько неожиданно родное, что иногда мне кажется — что-то откроется впоследствии, как в драмах с запоздалыми узнаваниями, какая-то вдруг все объясняющая биографическая подробность...

* * *

Годами когда-нибудь в зале концертной
Мне Брамса сыграют, — тоской изойду.
Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый,
Прогулки, купанье и клумбу в саду.

Художницы робкой, как сон, крутолобость,
С беззлой улыбкой, улыбкой вздох.
Улыбкой, огромной и светлой, как глобус,
Художницы облик, улыбку и лоб.

Мне Брамса сыграют, — я вздрогну, я сдамся,
Я вспомню покупку припасов и круп,
Ступеньки террасы и комнат убранство,
И брата, и сына, и клумбу, и дуб.

Художница пачкала красками траву,
Роняла палитру, совала в халат
Набор рисовальный и пачки отравы,
Что «Басмой» зовутся и астму сулят.

Мне Брамса сыграют, — я сдамся, я вспомню
Упрямую заросль, и кровлю, и вход,
Балкон полутемный и комнат питомник,
Улыбку, и облик, и брови, и рот.

И сразу же буду слезами увлажен
И вымокну раньше, чем выплачусь я.
Горячая давность ударит из скважин,
Околицы, лица, друзья и семья.

И станут кружком на лужке интермеццо,
Руками, как дерево, песнь охватив,
Как тени, вертеться четыре семейства
Под чистый, как детство, немецкий мотив.

1931

* * *

Любить иных — тяжелый крест,
А ты прекрасна без извин,и,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносильен.

Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь,
Все это — не большая хитрость.

1931

* * *

Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.

Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк маховой.
Только крыши, снег и, кроме
Крыш и снега, — никого.

И опять зачертит иней,
И опять завертит мной
Прошлогоднее унынье
И дела зимы иной,

И опять кольнут доныне
Неотпущенной виной,
И окно по крестовине
Сдавит голод дровяной.

Но неожиданно по портъере
Пробежит вторженья дрожь.
Тишину шагами меря,
Ты, как будущность, войдешь.

Ты появишься у двери
В чем-то белом, без причуд,
В чем-то впрямь из тех материй,
Из которых хлопя шьют.

1931

* * *

«...Около 1930 года зимой в Москве посетил меня вместе со своею женою поэт Паоло Яшвили, блестящий светский человек, образованный, занимательный собеседник, европеец, красавец.

Вскоре в двух семьях, моей и другой дружественной, произошли перевороты, осложнения и перемены, душевно тяжелые для участников. Некоторое время мне и моей спутнице, впоследствии ставшей моей второй женою, негде было приклонить голову. Яшвили предложил нам пристанище у себя в Тифлисе.

Тогда Кавказ, Грузия, отдельные ее люди, ее народная жизнь явились для меня совершенным откровением. Все было ново, все удивляло. В глубине всех уличных пролетов Тифлиса нависавшие темные каменные громады. Вынесенная из дворов на улицу жизнь беднейшего населения, более смелая, менее прячущаяся, чем на севере, яркая, откровенная...»

Борис Пастернак. Из очерка «Люди и положения»

* * *

Я видел, чем Тифлис
Удержан по откосам,
Я видел даль и близь
Кругом под абрикосом.

Он был во весь отвес,
Как книга с фронтисписом,
На языке чудес
Кистями слив исписан.

По склонам цвел анис,
И, высясь пирамидой,
Смотрели сверху вниз
Сады горы Давида.

Я видел блеск светца
Меж кадок с олеандром,
И видел ночь: чтеца
За старым фолиантом.

1936

* * *

Пока мы по Кавказу лазаем,
И в задыхающейся раме
Кура ползет атакой газовой
К Арагве, сдавленной горами,
И в августовский свод из мрамора,
Как обезглавленных гортани,
Заносят яблоки адамовы
Казненных замков очертанья,

Пока я голову заламываю,
Следя, как шеи укреплений
Плывут по синеве сиреновой
И тонут в бездне поколений,
Пока, сменяя рощи вязовые,
Курчавится лесная мелочь,
Что шепчешь ты, что мне подсказываешь,
Кавказ, Кавказ, о что мне делать?

Объятье в тысячу охватов,
Чем обеспечен твой успех?
Здоровый глаз за веко спрятав,
Над чем смеешься ты, Казбек?
Когда от высей сердце ёкает
И гор колышутся кадила,
Ты думаешь, моя далекая,
Что чем-то мне не угодила.

И там, у Альп в дали Германии
Где так же чокаются скалы,
Но отклики еще туманнее,
Ты думаешь, — ты оплошала?

Я брошен в жизнь, в потоке дней
Катящую потоки рода,
И мне кроить свою трудней,
Чем резать ножницами воду.
Не бойся снов, не мучься, брось.
Люблю и думаю и знаю.
Смотри: и рек не мыслит врозь
Существованья ткань сквозная.

Книга Пастернака «Второе рождение» включила стихотворения, написанные в 1930 — 1932 годах. В ней сказалась мужественная решимость писать по-новому, преодолевая собственные навыки, и жить несмотря на опасности и перемены. Сознание рискованности этого пути, подчиненного внеэстетическим задачам и нравственному долгу художника, заявлено со всей определенностью в стихотворении:

* * *

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют.

От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.

Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

1932

* * *

«...как перерождает, каким пленником времени делает эта доля, это нахождение себя во всеобщей собственности, эта отовсюду прогретая теплом неволя. Потому что и в этом извечная жестокость несчастной России: когда она дарит кому-нибудь любовь, избранник уже не спасется с глаз ее. Он как бы попадает перед ней на римскую арену, обязанный ей зрелищем за ее любовь. И если от этого не спасся никто, что же сказать мне, любовь к которому затруднена ей так чрезвычайно, как любовь Германии к Heine... Я назвал тебе мой долг перед судьбой...»

*Борис Пастернак — Жозефине Пастернак.
Из письма 11 февраля 1932*

* * *

Столетье с лишним — не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни¹.

Хотеть, в отличие от хлыща
В его существовании кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.

¹ «Столетье с лишним» отделяет это стихотворение от «Стансов» 1926 года А. Пушкина, в которых он излагал свои надежды на новое царствование:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дел Петра
Мрачили мятежи и казни.

И тот же тотчас же тупик
 При встрече с умственной ленью,
 И те же выписки из книг,
 И тех же эр сопоставленье.

Но лишь сейчас сказать пора,
 Величьем дня сравненье разня:
 Начало славных дней Петра
 Мрачили мятежи и казни.

Итак, вперед, не трепеща
 И утешаясь параллелью,
 Пока ты жив, и не моща,
 И о тебе не пожалели.

1931

Новая книга Пастернака ориентировалась на широкую публику и отличалась большей доступностью, что делало ее более уязвимой. Сказывалась также «опасность» провозглашенной во «Втором рождении» творческой простоты.

* * *

Есть в опыте больших поэтов
 Черты естественности той,
 Что невозможно, их отведав,
 Не кончить полной немотой.

В родстве со всем, что есть, уверясь,
 И знаясь с будущим в быту,
 Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
 В неслыханную простоту.

Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим,
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

Отсылка к опыту больших поэтов вскрывает соотнесенность книги «Второе рождение» с «вековым прототипом» русской классической поэзии. Пастернак понимал, что «небережливое многословье», которым прикрывается безличие, кажется доступным потому, что оно бессодержательно.

«Что развращенные пустотою шаблонов, мы именно неслыханную содержательность... принимаем за претензию формы».

Эти слова из «Охранной грамоты» служат прямым комментарием к приведенным стихам, плохо понимаемым, хотя и часто цитируемым. Насколько опасна эта «неслыханная содержательность», или, иными словами, «неслыханная простота», подтверждалось на каждом шагу, и Пастернак знал, что «мы пощажены не будем».

* * *

«...Мою деятельность объявили бессознательной вылазкой классового врага, мое понимание искусства — утверждением, что оно при социализме, то есть вне индивидуализма, немыслимо, — оценки в наших условиях малообещающие, когда книги мои запрещены в библиотеках...»

*Борис Пастернак — Жозефине Пастернак.
Из письма 11 февраля 1932*



Страницы века громче
Отдельных правд и кривд.
Мы этой книги кормчей
Живой курсивный шрифт.





Б. Пастернак с сыном Леонидом.
Переделькино. 1939 г.



* * *

«...Годы моего первого знакомства с грузинской лирикой составляют особую, светлую и незабываемую страницу моей жизни. Воспоминания о толках и побуждениях, вызвавших эти переводы, а также подробности обстановки, в которой они производились, слились в целый мир, далекий и драгоценный...»

*Борис Пастернак.
Из статьи «Несколько слов о новой
грузинской поэзии»*

* * *

За прошлого порог
Не вносят произвола.
Давайте с первых строк
Обнимемся, Паоло!

Ни разу властью схем
Я близких не обидел,
В те дни вы были всем,
Что я любил и видел.

Входили ль мы в квартал
Оружья, кож и сёдел,
Везде ваш дух витал
И мною верховодил.

Уступами террас
Из вьющихся глициний
Я мерил ваш рассказ
И слушал, рот разиня.

Не зная ваших строф,
Но полюбив источник,
Я понимал без слов
Ваш будущий подстрочник.

1936

* * *

«...Паоло Яшвили — замечательный поэт послесимволистического времени. Его поэзия строится на точных данных и свидетельствах ощущения. Она сродни новейшей европейской прозе Белого, Гамсуна и Пруста и, как эта проза, свежа неожиданными и меткими наблюдениями...

Одаренность сквозила из него. Огнем души светились его глаза, огнем страстей были опалены его губы. Жаром испытанного было обожжено и вычерчено его лицо, так что он казался старше своих лет, человеком потрепанным, пожившим.

В день нашего приезда он собрал своих друзей, членов группы, вожакom которой он состоял. Я не помню, кто пришел тогда. Наверное, присутствовал его сосед по дому, перворазрядный и неподдельный лирик, Николай Надирадзе. И были Тициан Табидзе с женой...

—

Зачем посланы были мне эти два человека? Как назвать наши отношения? Оба стали составною частью моего личного мира. Я ни одного не предпочитал другому, так они были нераздельны, так дополняли друг друга. Судьба обоих вместе с судьбой Цветаевой должна была стать самым большим моим горем.

Если Яшвили весь был во внешнем, центробежном проявлении, Тициан Табидзе был устремлен внутрь и каждую своей строкой и каждым шагом звал в глубину своей богатой, полной догадок и предчувствий души.

Главное в его поэзии — чувство неисчерпанности лирической потенции, стоящее за каждым его стихотворением, перевес несказанного и того, что он еще скажет, над сказанным. Это присутствие незатронутых душевных запасов создает фон и второй план его стихов и придает им то особое настроение, которым они пронизаны и которое составляет их главную и горькую прелесть. Души в его стихах столько же, сколько ее было в нем самом, души сложной, затаенной, целиком направленной к добру и способной к ясновидению и самопожертвованию...»

*Борис Пастернак.
Из очерка «Люди и положения»*

* * *

Еловый бурелом,
Обрыв тропы овечьей.
Нас много за столом,
Приборы, звезды, свечи.

Как пылкий дифирамб,
Все затмевая оптом,
Огнем садовых ламп
Тицьян Табидзе обдан.

Сейчас он речь начнет
И мыслью — на прицеле.
Он слово почерпнет
Из этого ущелья.

Он курит, подперев
Рукою подбородок,
Он строг, как барельеф,
И чист, как самородок.

Он плотен, он шатен,
Он смертен, и, однако,
Таким, как он, Роден
Изобразил Бальзака.

Он в глыбе поселен,
Чтоб в тысяче градаций
Из каменных пелён
Все явственней рождаться.

Свой непомерный дар
Едва, как свечку, тепла,
Он — пира перегар
В рассветном сером пепле.

1936

* * *

Немолчный плеск солей.
Скалистое ущелье.
Стволы густых елей.
Садовый стол под елью.

На свежем шашлыке
Дыханье водопада,
С его невдалеке
Гремящей галопадой.

На хлебе и жарком
Угар его обвала,
Как пламя кувырком
Упавшего шандала.

От говора ключей,
Сочащихся из скважин,
Тускнеет блеск свечей,
Так этот воздух влажен.

Они висят во мгле
Сучёной ниткой книзу,
Их шум прибит к скале,
Как канделябр к карнизу.

1936

В ночь с 15 на 16 мая 1934 года был арестован Осип Мандельштам. Пастернак обратился к заступничеству Бухарина. За несколько дней до распоряжения о пересмотре дела Пастернаку по-

звонил по телефону Сталин. Разговор был дословно передан Анне Ахматовой и Надежде Мандельштам и достаточно точно ими записан.

* * *

«...Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается и с ним все будет хорошо. Затем последовал неожиданный упрек, — почему Пастернак не обратился в писательские организации «или ко мне» и не хлопотал о Мандельштаме... Ответ Пастернака: «Писательские организации этим не занимаются с 27 года, а если б я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего бы не узнали...» Сталин прервал его вопросом: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Да дело же не в этом...» — «А в чем же?» — спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. «О чем?» — «О жизни и смерти», — ответил Пастернак. Сталин повесил трубку...»

*Надежда Мандельштам.
Из «Воспоминаний»*

Со свойственной Сталину подозрительностью он решил проверить мотивы заступничества Пастернака. Трехминутный разговор носил характер скрытого допроса. Пастернак вспоминал впоследствии, что ни одного слова никогда не хотел бы изменить в своих ответах, довольный тем, что ничем не выдал, что знает причину ареста и что стихи Мандельштама о Сталине были ему известны. Заступничество Пастернака в июне 1934 года отсрочило на несколько лет гибель Мандельштама, ссылка в Чердынь была заменена «минусом».

Позднее, совместное с Ахматовой ходатайство Пастернака в прокуратуре не имело уже никакого действия, и когда вскоре последовал новый арест, было понятно, что хлопоты бесполезны.

* * *

«...Однажды Ахматова приехала очень расстроенная и рассказала, что в Ленинграде арестовали ее мужа Пунина. Она говорила, что он ни в чем не виноват, что никогда не участвовал в политике, и удивлению этим арестом не было предела. Боря был очень взволнован. В этот же день к обеду приезжал Пильняк и усиленно уговаривал его написать письмо Сталину. Были большие споры, Пильняк утверждал, что письмо Пастернака будет более действенно, чем его. Сначала думали написать коллективно. Боря никогда не писал таких писем, никогда ни о чем не просил, но, увидев волнение Ахматовой, решил помочь поэту, которого высоко ставил. В эту ночь Ахматовой было плохо с сердцем, мы за ней ухаживали, уложили ее в постель, на другой день Боря сам понес написанное письмо и опустил его в кремлевскую будку около четырех часов дня. Успокоенные, мы легли спать, а на другое утро раздался звонок из Ленинграда, сообщили, что Пунин уже освобожден и находится дома. Боря еще спал, я влетела радостно в комнату Ахматовой, поздравила ее с освобождением ее мужа. На меня большое впечатление произвела ее реакция — она сказала: «Хорошо», — повернулась на другой бок и заснула снова.

Мне некуда было девать свою радость, и я разбудила Боря. Он был очень рад, что его письмо так подействовало...»

Зинаида Пастернак. Из «Воспоминаний»

Зинаида Николаевна не запомнила, что одновременно с Пуниным был арестован и сын Ахматовой Лев Гумилев. Это было 28 октября 1935 года. К тому же, вместе с письмом Пастернака, по совету Пильняка, было написано и письмо Ахматовой. Дочь Пунина Ирина Николаевна вспоминала, что ее отец рассказывал, как их разбудили среди ночи и, объявив об освобождении, потребовали немедленно отправляться домой. Лев Николаевич сразу, собрав вещи, пошел, а Николай Николаевич попросил позволения подождать до утра, когда начнут ходить автобусы, но ему резко сказали, что никто не знает, что будет утром, и чтобы он немедленно уходил.

Пастернак послал письмо Сталину, где благодарил его «за чудесное молниеносное освобождение родных Ахматовой». Но он не мог предполагать тогда, что через несколько лет, один раньше, другой позже, они будут арестованы снова.

* * *

Дорогая, дорогая Анна Андреевна!

Могли ли я что-нибудь сделать, чтобы хоть немного развеселить Вас и заинтересовать существованием в этом снова надвинувшемся мраке, тень которого с дрожью чувствую ежедневно и на себе. Как Вам напомнить с достаточностью, что жить и хотеть жить (не по-какому-нибудь еще, а только по-Вашему) Ваш долг перед живущими, потому что представления о

жизни легко разрушаются и редко кем поддерживаются, а Вы их главный создатель.

Дорогой друг и недостижимый пример, все это я Вам должен был бы сказать тем серым днем августа, когда мы в последний раз виделись и Вы мне напомнили, как категорически Вы мне дороги...

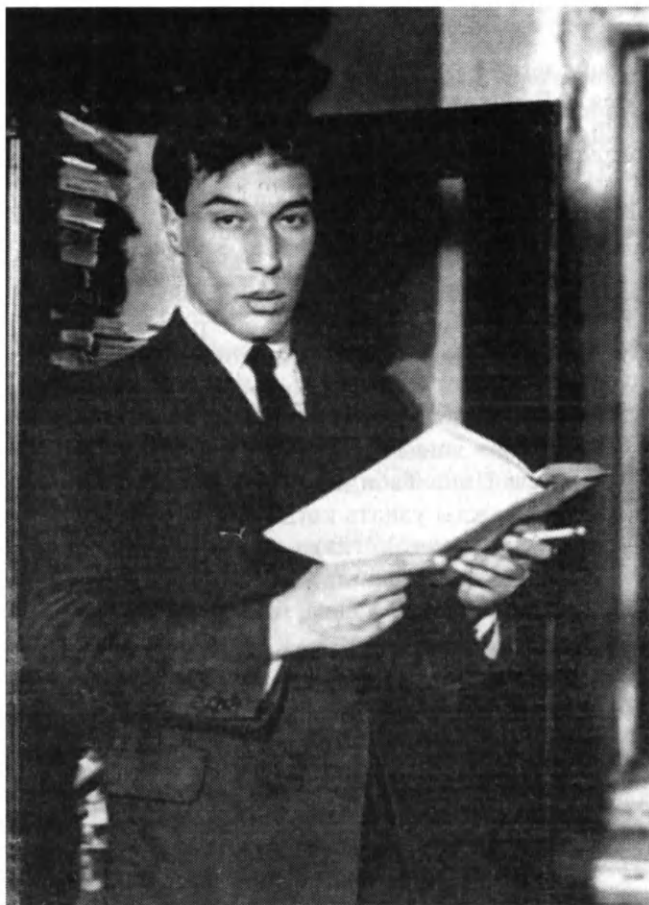
Я говорил Вам, Анна Андреевна, что мой отец и сестры с семьями в Оксфорде, и Вы представите себе мое состояние, когда в ответ на телеграфный запрос я больше месяца не получал от них ответа. Я мысленно похоронил их в том виде, какой может подсказать воображенью воздушный бомбардировщик, и вдруг узнал, что они живы и здоровы.

Также и Нина Табидзе уехала в Тифлис без малейшей надежды узнать когда-нибудь что-нибудь о муже, а мне намекали даже, что нет уверенности, чтобы он был в живых, а теперь она написала мне, что он содержится в Москве, и это установлено.

Простите, что я так грубо и как маленькой привожу Вам примеры из домашней жизни в пользу того, что никогда не надо расставаться с надеждой, все это, как истинная христианка, Вы должны знать, однако, знаете ли Вы, в какой цене *Ваша надежда* и как Вы должны беречь ее?..

*Борис Пастернак — Анне Ахматовой.
Из письма 1 ноября 1940*

В конце 1939 года Анна Ахматова рассказывала, что прочла Пастернаку написанные к тому времени стихи из «Реквиема», которые ему очень понравились.



Б. Пастернак. Конец 40-х гг.

* * *

«...Он так все преувеличивает! Он сказал: «Теперь и умереть не страшно»... Но что за прелестный человек! И более всего ему понравилось то же, что и вы любите: «И упало каменное слово»...»

Лидия Чуковская.

Из «Записок об Анне Ахматовой»

ХУДОЖНИК

1

Мне по душе строптивый норов
Артиста в силе: он отвык
От фраз, и прячется от взоров,
И собственных стыдится книг.

Но всем известен этот облик.
Он миг для прятков прозевал.
Назад не повернуть оглобли,
Хотя б и затаясь в подвал.

Судьбы под землю не займать.
Как быть? Неясная сперва,
При жизни переходит в память
Его признавшая молва.

Но кто ж он? На какой арене
Стяжал он поздний опыт свой?
С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой.

Как поселенье на Гольфштреме,
Он создан весь земным теплом.
В его залив вкатило время
Все, что ушло за волнолом.

Он жаждал воли и покоя,
А годы шли примерно так,
Как облака над мастерскою,
Где горбился его верстак.

2

Скромный дом, но рюмка рому
И набросков черный грог,
И взамен камор — хоромы,
И на чердаке — чертог.

От шагов и волн капота
И расспросов — ни следа.
В зарешеченном работой
Своде воздуха — слюда.

Голос, властный, как полюдые,
Плавит все наперечет.
В горловой его полуде
Ложек олово течет.

Что ему почет и слава,
Место в мире и молва
В миг, когда дыханьем сплава
В слово сплочены слова?

Он на это мебель стопит,
Дружбу, разум, совесть, быт.
На столе стакан не допит,
Век не дожит, свет забыт.

Слитки рифм, как воск гадальный,
Каждый миг меняют вид.
Он детей дыхание в спальней
Паром их благословит.

1936

* * *

Все наклоненья и залог
Изжеваны до одного.
Хватить бы соды от изжоги!
Так вот итог твой, мастерство?

На днях я вышел книгой в Праге¹.
Она меня перенесла
В те дни, когда с заказом на дом
От зарев, догоравших рядом,
Я верил на слово бумаге,
Облитой лампой ремесла.

Бывало, снег несет вкрутую,
Что только в голову придет.

¹ Имется в виду издание сборника Пастернака в переводе на чешский язык поэта Йозефа Горы. Пастернак писал Горе: «После многих, многих лет Вы впервые, как двадцать лет тому назад, заставили меня пережить волнующее чувство поэтического воплощения, и какими бы средствами... Вы этого ни достигли, размеры моей удивленной признательности должны быть Вам понятны».

Я сумраком его грунтую
Свой дом, и холст, и обиход.

Всю зиму пишет он этюды,
И у прохожих на виду
Я их переносу оттуда,
Таю, копирую, краду.

Казалось альфой и омегой —
Мы с жизнью на один покрой;
И круглый год, в снегу, без снега,
Она жила, как alter ego,
И я назвал ее сестрой.

Землею был так полон взор мой,
Что зацветал, как курослеп
С сурепкой мелкой неврасцеп,
И пил корнями жженный, черный
Цикорный сок густого дерна,
И только это было формой,
И это — лепкою судеб.

Как вдруг — издание из Праги Как будто
реки и овраги
Задумали на полчаса
Наведаться из грек в варяги¹
В свои былые адреса.

С тех пор все изменилось в корне.
Мир стал невиданно широк.

¹ «Многое в стихах Горы, — записал слова Пастернака Ф. Брюгель, — звучит как фразы из древних русских летописей, в которых рассказывается, как в нашу страну пришли стародавние варяги, чтобы проложить путь к грекам».

Так революции ль порок,
Что я, с годами все покорней,
Твержу, не знаю чей, урок?

Откуда это? Что за притча,
Что пепел рухнувших планет
Родит скрипичные капричьо?
Талантов много, духу нет.

Поэт, не принимай на веру
Примеров Дантов и Торкват.
Искусство — дерзость глазомера,
Влечение, сила и захват.

Тебя пилили на поленья
В года, когда в огне невзгод
В золе народонаселенья
Оплавилось ядро: народ.

Он для тебя вода и воздух,
Он — прежний лютик луговой,
Копной черемух белогроздых
До облак взмывший головой.

Не выставляй ему отметок.
Растроганности грош цена.
Грозой пади в объятья веток,
Дождем обдай его до дна.

Не умиляйся — не подтянем.
Сгинь без вести, вернись без сил,
И по репьям, и по плутаньям
Пойдем, кого ты посетил.

Твое творение не орден:
Награды назначает власть.
А ты — тоски пеньковой гордень,
Паренья парусная снасть.

1936

Страшные зимы 1936 — 1939 годов Пастернак провел в одиночестве на своей даче в Переделкине. Он читал исторические труды Мишле и Маколя, рубил еловые ветви в лесу и топил печку. Драматург А. Н. Афиногенов, исключенный из партии и со дня на день ожидавший ареста, описал в дневнике свои встречи с Пастернаком, захватившим его провести осенью и зимой 1937 года:

21 сентября.

«...Разговоры с Пастернаком навсегда останутся в сердце. Он входит и сразу начинает говорить о большом, интересном, настоящем. Главное для него — искусство, и только оно. Поэтому он не хочет ездить в город, а жить все время здесь, ходить, гуляя одному, или читать историю Англии Маколя, или сидеть у окна и смотреть на звездную почь, перебирая мысли, или — наконец — писать свой роман...

Жене трудно, нужно доставать деньги и как-то жить, но он ничего не знает, иногда только, когда уж очень трудно станет с деньгами, — он примется за переводы. «Но с таким же успехом я мог бы стать коммивояжером»... Он не читает газет, это странно для меня, который дня не может прожить без новостей... Он всегда занят работой, книгами, собой... И будь он во дворце или на нарах камеры — все равно он будет занят, и даже, может быть, больше, чем здесь, — по крайней мере, не придется думать о деньгах и заботах...»

15 ноября.

«Пастернаку тяжело — у него постоянные ссоры с женой. Жена гонит его на собрания, она говорит, что Пастернак не думает о детях, о том, что его замкнутое поведение вызывает подозрения, что его непременно арестуют, если он и дальше будет отсиживаться. Он слушает ее, обыкновенно очень кротко, потом начинает говорить — он говорит, что самое трудное в аресте его для него — это они, оставшиеся здесь. Ибо им ничего не известно и они находятся среди обыкновенных граждан, а он будет среди таких же арестованных, значит, как равный, и он будет все о себе знать... Но он даже несмотря на это не может ходить на собрания только затем, чтобы сидеть на них. Он не может изображать из себя общественника, это было бы фальшиво...»

Александр Афиногенов. «Из дневника 1937 года»

Развернувшийся весной 1937 года террор перешел на широкие круги ортодоксальной писательской общественности. Каждый день приносил известия о новых арестах друзей и знакомых. Из Грузии дошли сведения о самоубийстве Паоло Яшвили и вскоре последовавшем за ним аресте Тициана Табидзе.

* * *

«...Мы не имеем понятия о сердечном терзании, предшествующем самоубийству...

Мне кажется, Паоло Яшвили уже ничего не понимал, как колдовством оплетенный шигалевщиной тридцать седьмого года, и ночью глядел на спящую

дочь, и воображал, что больше недостойн глядеть на нее, и утром пошел к товарищам и дробью из двух стволов разнес себе череп...»

*Борис Пастернак.
Из очерка «Люди и положения»*

В ноябре 1939 года А. К. Тарасенков записал слова Пастернака:

«...Мы пережили тягостные и страшные годы. Нет Тициана Табидзе среди нас. Ведь все мы живем преувеличенными восторгами и восклицательными знаками. ...На восклицательном знаке живет Асеев. Он каждый раз разлетается с объятиями и вскриками и тем вызывает на какую-то резкость с моей стороны. Все мы живем на два профиля — общественный, радостный, восторженный, — и внутренний, трагический. Мне так было радостно когда-то, что Грузию я мог воспринять с ее поэзией искренне, от сердца — и под восклицательным знаком, что совпадало с тоном времени. И вот когда в разгар страшных наших лет, когда лилась повсюду в стране кровь, — мне Ставский¹ предложил ехать на Руставелиевский пленум в Тбилиси. Да как же я мог тогда ехать в Грузию, когда там уже не было Тициана? Я так любил его. А тут бы начались вопросы о том, как я был с ним связан, кто был связан со мной и т. д. ...Я отговорился только тем, что у меня жена была на сносях. Я не поехал в Грузию...

В эти страшные годы мог быть арестован каждый. Мы тасовались как колода карт. И я не хочу по-обывательски радоваться, что я цел, а другой нет.

¹ В. П. Ставский — первый секретарь Союза писателей.

Нужно, чтобы кто-нибудь гордо скорбел, носил траур, переживал жизнь трагически...

В эти страшные годы, что мы пережили, я никого не хотел видеть, — даже Тихонов, которого я люблю, приезжал в Москву, останавливался у Луговского, не звонил мне, при встрече — прятал глаза. Даже Вс. Иванов, честнейший художник, делал в эти годы подлости, делал черт знает что, подписывал разные гнусности, чтобы сохранить в неприкосновенности свою берлогу — искусство. Его, как медведя, выволакивали за губу, продев в нее железное кольцо, его, как дятла, заставляли, как и всех нас, повторять сказки о заговорах. Он делал это, а потом снова лез в свою берлогу — в искусство. Я прощаю ему. Но есть люди, которым понравилось быть медведями, кольцо из губы у них вынули, а они все еще, довольные, бродят по бульвару и пляшут на потеху публике...»

Анатолий Тарасенков.
Из «Черновых записей 1930 — 1939 годов»

Создавалось положение, при котором совестливому человеку становилось стыдно оставаться на свободе. И поступок Пастернака в связи с письмом, одобряющим расстрел военачальников (Тухачевского, Якира, Уборевича и др.), выглядит откровенно самоубийственным актом, с точки зрения сложившихся тогда норм поведения. Когда к Пастернаку пришли взять его подпись под писательским требованием расстрела обвиняемых, он вскипел:

«Мне никто не давал права распоряжаться жиз-

нюю и смертью других людей. Это вам, наконец, не контрамарки подписывать!»

Обнаружив на другой день свою подпись в «Известиях», он рванулся в Москву требовать печатного опровержения. Зинаида Николаевна, которая была тогда беременна, вспоминает, что умоляла его не делать этого ради своего будущего ребенка. «Ребенок, который родится не от меня, а от человека с иными взглядами, мне не нужен», — сказал он ей.

И хотя никакого опровержения Пастернак не добился, но внутренне этот шаг изменил в нем очень многое и определил его будущее поведение. Он показал его духовную негибкость и физическую невозможность выполнять те требования, которые предъявлялись человеку в советском обществе. Этот год положил предел его желанию «труда со всеми сообща», поставил его вне общественной жизни и вне официальной советской литературы.

* * *

«...Когда пять лет назад я отказывал Ставскому в подписи под низостью и был готов пойти за это на смерть, а он мне этим грозил и все-таки дал мою подпись мошеннически и подложно, он кричал: «Когда кончится это толстовское родство?»...»

*Борис Пастернак — Корнею Чуковскому.
Из письма 12 марта 1942*

* * *

«...Не страдай за меня, пожалуйста, не думай, что я терплю несправедливость, что я недооценен. Удивительно, как я уцелел за те страшные годы.

Уму непостижимо, что я себе позволял!!! Судьба моя сложилась именно так, как я сам ее сложил. Я многое предвидел, а главное, я многого не в силах был принять, — я многое предвидел, но запаса терпением не на такой долгий срок, как нужно...»

*Борис Пастернак — Ольге Фрейденберг.
Из письма 7 января 1954*

В конце 1937 года Пастернак с семьей переехал в маленькую квартиру в Лаврушинском переулке. Вскоре у него родился сын.

* * *

«...мальчик родился, милый, здоровый и, кажется, славный. Он умудрился появиться на свет в новогоднюю ночь с последним, двенадцатым ударом часов, почему, по статистике родильного дома и попал сразу в печать, как «первый мальчик 1938 года, родившийся в 0 часов 1 января». Я назвал его в твою честь Леонидом...

По естественнейшим законам у мужчины и женщины (немного, правда, поздно) родился мальчик морозной новогодней ночью, славный, спокойный, как и самый факт его явления, не столько в семье, сколько в природе, ночной, почти не городской, снежной. И дай ему Бог счастья и здоровья...»

*Борис Пастернак — Леониду Пастернаку.
Из письма 6 января 1938*

* * *

«...Именно в 36 году, когда начались эти страшные процессы, все сломилось во мне, и единение с временем перешло в сопротивление ему, которого я не скрывал. Я ушел в переводы. Личное творчество кончилось. Оно снова пробудилось накануне войны, может быть, как ее предчувствие, в 1940 году...»

Борис Пастернак.

Из заметки 11 февраля 1956

В последней фразе речь идет о цикле стихов «Переделкино», который Пастернак считал для себя открытием возможности писать с новой простотой и ясностью.

* * *

«...«Второе рождение» заканчивает первый период лирики. Очевидно, дальше пути нет. Затем наступает долгий (10 лет) мучительный антракт (говорил: «Что это со мной!»), когда действительно не может написать ни одной строчки (это удушье — уже у меня на глазах). — Появляется дача (Переделкино) — встреча с Природой, которая всю жизнь была его единственной полноправной Музой, невестой и собеседницей (любовь — предмет второй необходимости), удушье кончилось, снова все вокруг звучит. «Я написал девять стихотворений, — говорит он мне по телефону, — сейчас приду читать», — и пришел. «Это только начало — я распишусь...». Июнь 41 года — новая фактура — строгость и простота. Был самый сложный — стал самый ясный. Но неловкости остались (типа «вошла со стулом»). Расписаться не пришлось — пришла война...»

Анна Ахматова. Из наброска

«Путь Пастернака»

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

У нас весною до зари
Костры на огороде, —
Языческие алтари
На пире плодородья.

Перегорает целина
И парит спозаранку,
И вся земля раскалена,
Как жаркая лежанка.

Я за работой земляной
С себя рубашку скину,
И в спину мне ударит зной
И обожжет, как глину.

Я стану, где сильней припек,
И там, глаза зажмуря,
Покроюсь с головы до ног
Горшечною глазурью.

А ночь войдет в мой мезонин
И, высунувшись в сени,
Меня наполнит, как кувшин,
Водою и сиренью.

Она отмоеет верхний слой
С похолодевших стенок
И даст какой-нибудь одной
Из здешних уроженок.

И распутившийся побег
Потянется к свободе,
Устраиваясь на ночлег
На крашеном комоде.

1940, 1942

* * *

«...Лето. Я приехала из Ленинграда в Москву хлопотать за Митю¹. Такси в Переделкино, где никогда не была. Адрес: «Городок писателей, дача Чуковского — сначала шоссе, потом что-то такое направо, налево». В Городке таксист свернул не туда, запутался, приметы не совпадали — непредуказанное поле — и ни одного пешехода. Первый человек, который попался мне на глаза, стоял на короточках за дачным забором: коричневый, голый до пояса, весь обожженный солнцем; он полол гряды на пологом, пустом, выжженном солнцем участке. Шофер притормозил, и я через опущенное стекло спросила, где дача Чуковского. Он выпрямился, отряхивая землю с колен и ладоней, и, прежде чем объяснить нам дорогу, с таким жадным любопытством оглядел машину, шофера и меня, будто впервые в жизни увидал автомобиль, таксиста и женщину. Гудя, объяснил. Потом бурно: «Вы, наверное, Лидия Корнеевна?» — «Да», — сказала я. Поблагодарив, я велела шоферу ехать и только тогда, когда мы уже снова пересекли шоссе, догадалась: «Это был Пастернак». Явление природы, первобытность...»

Лидия Чуковская. Отрывок из дневника.

¹ Физик Матвей Петрович Бронштейн — муж Л. К. Чуковской был арестован в 1937 году и расстрелян.



Б. Пастернак на огороде. Переделкино. 1946 г.

СОСНЫ

В траве, меж диких бальзаминов,
Ромашек и лесных купав,
Лежим мы, руки запрокинув
И к небу головы задрав.

Трава на просеке сосновой
Непроходима и густа.
Мы переглянемся — и снова
Меняем позы и места.

И вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены
И от болей и эпидемий
И смерти освобождены.

С намеренным однообразием,
Как мазь, густая синева
Ложится зайчиками наземь
И пачкает нам рукава.

Мы делим отдых краснолесья,
Под копошенье мураша
Сосновою снотворной смесью
Лимона с ладаном дыша.

И так неистовы на синем
Разбеги огненных стволов,
И мы так долго рук не вынем
Из-под заломленных голов,

И столько широты во взоре,
И так покорно все извне,
Что где-то за стволами море
Мерещится все время мне.

Там волны выше этих веток,
И, сваливаясь с валуна,
Обрушивают град креветок
Со взбаламученного дна.

А вечерами за буксиром
На пробках тянется заря
И отливает рыбьим жиром
И мглистой дымкой янтаря.

Смеркается, и постепенно
Луна хоронит все следы
Под белой магиею пены
И черной магией воды.

А волны все шумней и выше,
И публика на поплавке
Толпится у столба с афишей,
Неразличимой вдалеке.

1941

* * *

«...Анна Ахматова назвала Пастернака собеседником рош. Он таким и был. «Природы праздный соглядатай» — определил себя Фет. Пастернак не был праздным, в природе он был деятельным. Я видел его в саду с лопатой, с засученными рукавами, вдохновенно копающим гряды, славящим языческое плодородье. Он был вписан в Переделкино, как знаменитая древняя церковь, как самаринский пруд, как сосны по дороге на станцию...»

Виктор Боков. Из воспоминаний



Дача в Переделкине. Фото С. Нейгауза. 1946 г.

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

Корыта и ушаты,
Нескладица с утра,
Дождливые закаты,
Сырые вечера.

Проглоченные слезы
Во вздохах темноты,
И зовы паровоза
С шестнадцатой версты.

И ранние потемки
В саду и на дворе,
И мелкие поломки,
И всё как в сентябре.

А днем простор осенний
Пронизывает вой
Тоскою голошенья
С погоста за рекой.

Когда рыданье вдовье
Относит за бугор,
Я с нею всею кровью
И вижу смерть в упор.

Я вижу из передней
В окно, как всякий год,
Своей поры последней
Отсроченный приход.

Пути себе расчистив,
На жизнь мою с холма
Сквозь желтый ужас листьев
Уставилась зима.

1941

ИНЕЙ

Глухая пора листопада.
Последних гусей косяки.
Расстраиваться не надо:
У страха глаза велики.

Пусть ветер, рябину занянчив,
Пугает ее перед сном.
Порядок творенья обманчив,
Как сказка с хорошим концом.

Ты завтра очнешься от спячки
И, выйдя на зимнюю гладь,
Опять за углом водокачки
Как вкопанный будешь стоять.

Опять эти белые мухи,
И крыши, и святочный дед,
И трубы, и лес лопоухий
Шутом маскарадным одет.

Все обледелено с размаху
В папахе до самых бровей
И крадущейся росомой
Подсматривает с ветвей.

Ты дальше идешь с недоверьем.
Тропинка ныряет в овраг.
Здесь иinea сводчатый терем,
Решетчатый тес на дверях.

За снежной густой занавеской
Какой-то сторожки стена,
Дорога, и край перелеска,
И новая чаща видна.

Торжественное затишье,
Оправленное в резьбу,
Похоже на четверостишье
О спящей царевне в гробу.

И белому мертвому царству,
Бросавшему мысленно в дрожь,
Я тихо шепчу: «Благодарствуй,
Ты больше, чем просят, даешь».

1941

НА РАННИХ ПОЕЗДАХ

Я под Москвою эту зиму,
Но в стужу, снег и буревал
Всегда, когда необходимо,
По делу в городе бывал.

Я выходил в такое время.
Когда на улице ни зги,
И рассыпал лесною темью
Свои скрипучие шаги.

Навстречу мне на переезде
Вставали ветлы пустыря.
Надмирно высились созвездья
В холодной яме января.

Обыкновенно у задворок
Меня старался перегнать
Почтовый или номер сорок,
А я шел на́ шесть двадцать пять.

Вдруг света хитрые морщины
Сбирались щупальцами в круг.
Прожектор неся всей машиной
На оглушенный виадук.

В горячей духоте вагона
Я отдавался целиком
Порыву слабости врожденной
И всосанному с молоком.

Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты.

Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя,
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.

В них не было следов холопства,
Которые кладет нужда,
И новости и неудобства
Они несли как господа.

Рассевшись кучей, как в повозке,
Во всем разнообразьи поз,
Читали дети и подростки,
Как заведенные, взасос.

Москва встречала нас во мраке,
Переходившем в серебро,
И, покидая свет двоякий,
Мы выходили из метро.

Потомство тискалось к перилам
И обдавало на ходу
Черемуховым свежим мылом
И пряниками на меду.

1941

* * *

«...После долгого периода сплошных переводов я стал набрасывать что-то свое. Однако главное было не в этом. Поразительно, что в нашей жизни урожайность этого чудного, живого лета сыграла не меньшую роль, чем в жизни какого-нибудь колхоза. Мы с Зиной (инициатива ее) развели большущий огород, так что я осенью боялся, что у меня с нею не хватит сил собрать все и сохранить. Я с Леничкой зимую на даче, а Зина разрывается между нами и мальчиками, которые учатся в городе. Какая непередаваемая красота жизнь зимой в лесу, в мороз, когда есть дрова. Глаза разбегаются, это совершенное ослепление... А поездки в город, с пробуждением в шестом часу

утра и утренней прогулкой за три километра темным, ночным еще полем и лесом, и линия зимнего полотна, идеальная и строгая, как смерть, и пламя утреннего поезда, к которому ты опоздал и который тебя обгоняет у выхода с лесной опушки к переезду! Ах, как вкусно еще живется, особенно в периоды трудности и безденежья (странным образом постигшего нас в последние месяцы), как рано еще сдаваться, как хочется жить...»

*Борис Пастернак — Ольге Фрейденберг.
Из письма 15 ноября 1940*

ОПЯТЬ ВЕСНА

Поезд ушел. Насыпь черна.
Где я дорогу впотьмах раздобуду?
Неузнаваемая сторона,
Хоть я и сутки только отсюда.
Замер на шпалах лязг чугуна.
Вдруг — что за новая, право, причуда:
Сутолка, кумушек пересуды.
Что их попутал за сатана?

Где я обрывки этих речей
Слышал уж как-то порой прошлогодней?
Ах, это сызнава, верно, сегодня
Вышел из рощи ночью ручей.
Это, как в прежние времена,
Сдвинула льдины и вздулась запруда.
Это поистине новое чудо,
Это, как прежде, снова весна.

Это она, это она,
Это ее чародейство и диво,
Это ее телогрейка за ивой,
Плечи, косынка, стан и спина.
Это Снегурка у края обрыва.
Это о ней из оврага со дна
Льется без умолку бред торопливый
Полубезумного болтуна.

Это пред ней, заливая преграды,
Тонет в чаду водяном быстрина,
Лампой висячего водопада
К круче с шипеньем пригвождена.
Это, зубами стуча от простуды,
Льется чрез край ледяная струя
В пруд и из пруда в другую посуду.
Речь половодья — бред бытия.

1941

Природа у Пастернака не предмет пейзажных зарисовок, это другое название жизни, пример душевного здоровья, естественности и красоты. В статье «Несколько положений» Пастернак называл «живой, действительный мир» природы — «единственным, однажды удавшимся и все еще без конца удачным замыслом воображенья», который «служит поэту примером в большей еще степени, нежели натурой и моделью». Написанный весной 1941 года цикл стихов стал осуществлением естественности и простоты в искусстве, которые были сформулированы в стихах «Второго рождения».

* * *

«...Мне любопытно, что почувствовали бы, читая эти стихи, те критики и читатели, которые обвиняли Пастернака в произвольности образов, в запутанности синтаксиса, в путаности сюжетной линии в стихотворениях?.. Что тут проще, в этих чудесных стихах: русская сказка или советская быль предвоенных лет? Что тут сказочней: этот святочный дед или эта зимняя гладь Подмосковья с железнодорожной водочкой?»

Стихотворение это преисполнено тем простым, но глубоким чувством родины, которое так роднит многие новые стихи Пастернака с лермонтовской «Отчизною», с ее целомудренной тишиною, с ее почти благоговейной робостью и вместе с теплою сердечностью в выражении этой сыновней любви к родине...»

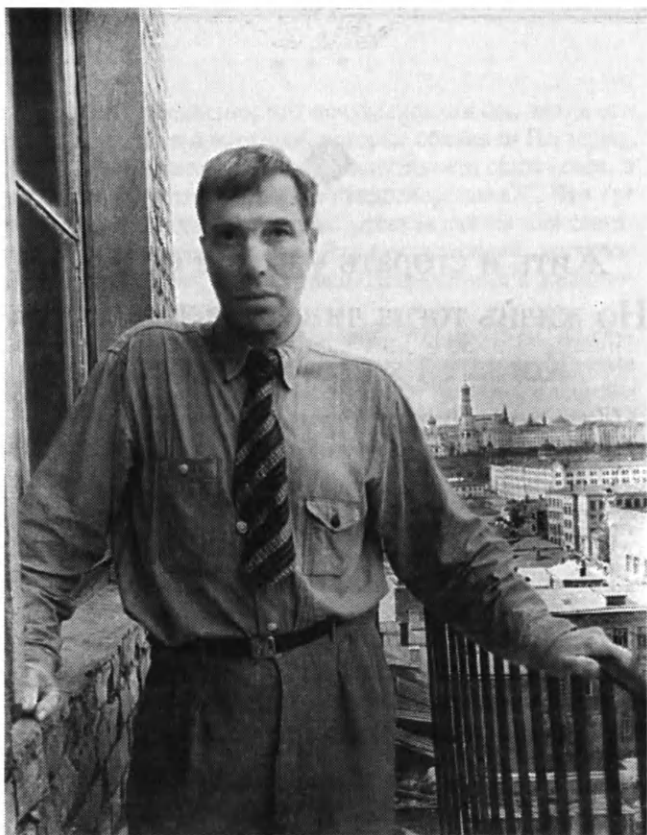
*Сергей Дурьлин.
Из рецензии на книгу «Земной простор»*





Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь.





Пастернак в квартире на Лаврушинском.
Фото Л. Горнунга. 1948 г.



* * *

«...Объявление войны оторвало меня от первых страниц «Ромео и Джульетты». Я забросил перевод и за проводами сына, отправлявшегося на оборонные работы, и другими волнениями забыл о Шекспире. Последовали недели, в течение которых волей или неволей всё на свете приобщилось к войне. Я дежурил в ночи бомбардировок на крыше двенадцатитажного дома, — свидетель двух фугасных попаданий в это здание в одно из моих дежурств, рыл блиндаж у себя за городом и проходил курсы военного обучения, неожиданно обнаружившие во мне прирожденного стрелка. Семья моя была отправлена в глушь внутренней губернии...»

*Борис Пастернак.
Из статьи «О Шекспире»*

БОБЫЛЬ

Грустно в нашем саду.
Он день ото дня краше.
В нем и в этом году
Жить бы полною чашей.

Но обитель свою
Разлюбил обитатель.
Он отправил семью,
И в краю неприятель.
И один, без жены,
Он весь день у соседей,
Точно с их стороны
Ждет вестей о победе.
А повадится в сад
И на пункт ополченский,
Так глядит на закат
В направлении к Смоленску.
Там в вечерней красе
Мимо Вязьмы и Гжатска
Протянулось шоссе
Пятитонкой солдатской.
Он еще не старик
И укор молодежи,
А его дробовик
Лет на двадцать моложе.
1941

«...В конце октября я уехал к жене и детям, и зима в провинциальном городе, отстоящем далеко от железной дороги, на замерзшей реке, служащей единственным средством сообщения, отрезала меня от внешнего мира и на три месяца засадила за прерванного «Ромео»...»

Борис Пастернак. Из статьи «О Шекспире»

ЗИМА ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Зима приближается. Сызнова
Какой-нибудь угол медвежий
По прихоти неба капризного
Исчезнет в грязи непроезжей.

Домишки в озерах очутятся.
Над ними закурятся трубы.
В холодных объятьях распутицы
Сойдутся к огню жизнелюбы.

Обитатели севера строгого,
Накрытые небом, как крышей,
На вас, захолустные логова,
Написано: «Сим победиши».

Люблю вас, далекие пристани
В провинции или деревне.
Чем книга чернее и ли́станней,
Тем прелесть ее задушевней.

Обозы тяжелые двигая,
Раскинувши нив алфавиты,
Россия волшебною книгою
Как бы на середке открыта.

И вдруг она пишется заново
Ближайшею первой метелью,
Вся в росчерках полоза санного
И белая, как рукоделье.

Октябрь серебристо-ореховый,
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана.

Октябрь 1943

Быт литературной колонии в Чистополе и свои встречи с Пастернаком прекрасно описал драматург А.К. Гладков. Он передает слова Пастернака:

«...Жизнь в Чистополе хороша уже тем, что мы здесь ближе, чем в Москве, к природной стихии, нас страшит мороз, радует оттепель — восстанавливаются естественные отношения человека с природой. И даже отсутствие удобств, всех этих кранов и штепселей, мне лично не кажется лишением, и я думаю, что говорю это почти от имени поэзии...»

*Александр Гладков.
Из воспоминаний «Встречи с Пастернаком»*

Еще в Москве, в начале сентября, через месяц после того, как Пастернак провожал Марину Цветаеву в эвакуацию, он узнал о ее самоубийстве. Бродя по улицам Чистополя, он задумывал стихотворение о ней, в которое включались картины зимнего провинциального городка, куда она приезжала за три дня до гибели.

«...Дочь Цветаевой запросила письмом Ник. Ник. Асеева, известно ли место, где погребена Марина Ивановна в Елабуге. В свое время я спрашивал об

этом Лозинского, жившего в Елабуге, и он мне ничего не мог по этому поводу сказать. Может быть, исходя из Вашего территориального соседства с Елабугой (может быть, у Вас там есть знакомые), Вы что-нибудь узнаете по этому поводу. Если бы мне десять лет тому назад — (она была еще в Париже, я был противником этого переезда) сказали, что она так кончит и я так буду справляться о месте, где ее похоронили, и это никому не будет известно, я почел бы все это обидным и немыслимым бредом...»

*Борис Пастернак — Валерию Авдееву.
Из письма 21 мая 1948*

ПАМЯТИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Хмуρο тянется день непогожий.
Безутешно струятся ручьи
По крыльцу перед дверью прихожей
И в открытые окна мои.

За оградой вдоль по дороге
Затопляет общественный сад.
Развалившись, как звери в берлоге,
Облака в беспорядке лежат.

Мне в ненастье мерещится книга
О земле и ее красоте.
Я рисую лесную шишигу
Для тебя на заглавном листе.

Ах, Марина, давно уже время,
Да и труд не такой уж ахти,

Твой заброшенный прах в реквиеме
Из Елабуги перенести.

Торжество твоего переноса
Я задумывал в прошлом году
Над снегами пустынного плеса,
Где зимуют баркасы во льду.

* * *

Мне так же трудно до сих пор
Вообразить тебя умершей,
Как скопидомкой-миллионершей
Средь голодающих сестер.

Что сделать мне тебе в угоду?
Дай как-нибудь об этом весть.
В молчаньи твоего ухода
Упрек невысказанный есть.

Всегда загадочны утраты.
В бесплодных розысках в ответ
Я мучаюсь без результата:
У смерти очертаний нет.

Тут всё — полуслова и тени,
Обмолвки и самообман,
И только верой в Воскресенье
Какой-то указатель дан.

Зима — как пышные поминки:
Наружу выйти из жилья,
Прибавить к сумеркам коринки,
Облить вином — вот и кутья.

Пред домом яблоня в сугробе,
И город в снежной пелене —
Твое огромное надгробье,
Как целый год казалось мне.

Лицом повернутая к Богу,
Ты тянешься к нему с земли,
Как в дни, когда тебе итога
Еще на ней не подвели.

1943¹

* * *

«...Хороший, почти весенний денек и интересный длинный разговор, из которого записываю малую часть. Он начинается с того, что Б. Л. говорит о вмерзших в Каму баржах, что, когда он на них смотрит, он всегда вспоминает Марину Цветаеву, которая перед отъездом отсюда сказала кому-то в Чистополе, что она предпочла бы вмерзнуть в Чистополе в лед Камы, чем уезжать. «Впрочем, тогда еще было далеко до зимы, но ее ждали с ужасом, а по Каме все шли и шли бесконечные баржи».

— Я очень любил ее и теперь сожалею, что не искал случаев высказывать это так часто, как ей это, может, было нужно. Она прожила героическую жизнь. Она совершала подвиги каждый день. Это были подвиги верности той единственной стране, подданным которой она была — поэзии...

— Когда-нибудь я напишу о ней, я уже начал... Да, и

¹ В рукописи стихотворения имеется приписка: «Задумано в 1942 году, написано по побуждению Алексея Крученых 25 и 26 декабря 1943 года в Москве. У себя дома...»

стихами и прозой. Мне уже давно хочется. Но я сдерживаю себя, чтобы накопить силу, достойную темы, то есть ее, Марины. О ней надо писать с тугой силой выражения...»

*Александр Гладков.
Из воспоминаний «Встречи с Пастернаком»*

* * *

«...<Стихи о Цветаевой> заставляют трепетать скорбью, гневом — и вместе великим утешением подлинного «бытия». Это и элегия, и дифирамб, — и со времени лермонтовской «Смерти поэта» не было в нашей поэзии таких звуков и скорбно-элегических и грозно-дифирамбических одновременно. Это у тебя что-то новое, высоко-смелое, глубокое и проникновенное, — и произнесенное так, как Пушкин писал про Мицкевича: «он с высоты взирал на жизнь». Только я прибавлю: и на смерть...»

*Сергей Дурылин — Борису Пастернаку.
Из письма 6 июля 1945*

* * *

«...Цветаева была женщиной с деятельной мужской душой, решительной, воинствующей, неукротимой. В жизни и творчестве она жадно и почти хищно рвалась к окончательности и определенности, в преследовании которых ушла далеко и опередила всех...»

*Борис Пастернак.
Из очерка «Люди и положения»*

Зимы 1942 и 1943 годов, проведенные в Чистополе, прошли в плодотворной работе над переводами шекспировских драм «Ромео и Джульетта», «Антоний и Клеопатра», пересмотр по просьбе издательства сделанного в 1940 году «Гамлета».

* * *

Летом 1942 года писалась оригинальная пьеса на военную тему, о которой Пастернак давно мечтал. В стихах «Старый парк» 1941 года он писал о раненом, лежащем в госпитале в Переделкине, которое было раньше имением славянофила Ю. Ф. Самарина. Воспоминания о знакомстве с его внучатым племянником Д. Ф. Самариным и Н. С. Трубецким наложились в стихотворении на собственные мечты о пьесе:

СТАРЫЙ ПАРК

Мальчик маленький в кроватке,
Бури озверелый рёв.
Каркающих стай девятки
Разлетаются с дерёв.

Раненому врач в халате
Промывал вчерашний шов.
Вдруг больной узнал в палате
Друга детства, дом отцов.

Вновь он в этом старом парке.
Заморозки по утрам,
И когда кладут припарки,
Плачут стекла первых рам.

Голос нынешнего века
И виденья той поры
Уживаются с опекой
Терпеливой медсестры.

По палате ходят люди.
Слышно хлопанье дверей.
Глухо ухают орудья
Заозерных батарей.

Солнце низкое садится.
Вот оно в затон впилося
И оттуда длинной спицей
Протыкает даль насквозь.

И минуты две оттуда
В выбоины на дворе
Льются волны изумруда,
Как в волшебном фонаре.

Зверской боли крепнут схватки,
Крепнет ветер, озверев,
И летят грачей девятки,
Черные девятки трэф.

Вихрь качает липы, скрючив,
Буря рвет их на корню,
И больной под стоны сучьев
Забывает про ступню.

Парк преданьями состарен,
Здесь стоял Наполеон
И славянофил Самарин
Послужил и погребен.

Здесь потомок декабриста,
Правнук русских героинь,
Бил ворон из монтекристо
И одолевал латынь.

Если только хватит силы,
Он, как дед, энтузиаст,
Прадеда-славянофила
Пересмотрит и издаст.

Сам же он напишет пьесу,
Вдохновленную войной, —
Под немолчный ропот леса,
Лёжа, думает больной.

Там он жизни небывалой
Невообразимый ход
Языком провинциала
В строй и ясность приведет.

1941

От пьесы Пастернака сохранились две сцены, остальные были уничтожены по требованию перепуганных друзей, которым он их читал. Просьбы Пастернака устроить ему поездку на фронт были

удовлетворены в августе 1943 года, после освобождения Курска и Орла. Группа писателей, куда он был включен, получила приглашение военного совета 3-й армии посетить места недавних сражений и подготовить книгу «В боях за Орел». Впечатления от виденного записаны по свежим следам в очерках «Поездка в Армию» и «Освобожденный город» и отразились в военных стихах конца 1943 года. Сохранились дневниковые записи, сделанные в разрушенном городе Карачеве:

«...Об этих разрушениях, об ужасе нынешней бездомности, о немецких зверствах и пр. писали очень много и не жалея выражений. Истинная картина гораздо ужаснее и сильнее. Очевидно, о жизни нельзя писать изолированными извлечениями с изолированными чувствами, а надо привлекать все сопутные мысли и соображения, поднимающиеся при этом. Так к горечи карачевского зрелища примешивается сознание, что если бы для восстановления разрушенных городов и благоденствия России потребовалось изменение политической системы, то эта жертва не будет принесена, а наоборот, всем на свете будут жертвовать системе...»

* * *

«...Нельзя быть злодеем другим, не будучи и для себя негодяем. Подлость универсальна. Нарушитель любви к ближнему первым из людей предаёт самого себя.

Сколько заслуженной злости излито по адресу нынешней Германии! Между тем глубина ее падения больше, чем можно обнаружить справедливого негодования. В гитлеризме поразительна утеря Германией политической первичности. Ее достоинство принесено в жертву производной роли. Стране навязано значение реакционной сноски к русской истории...

Весь девятнадцатый век, в особенности к его концу, Россия быстро и успешно двигала вперед свое просвещение. Дух широты и всечеловечности питал ее понимание... Этот дух особенно сказался во Льве Толстом, русскими средствами выразившем природу гения и его предвзятость... Но что такое гений?

Гений есть кровно осязаемое право мерить все на свете по-своему, чувство короткости со вселенной, счастье фамильной близости с историей и доступности всего живого. Гений первичен и ненавязчив...

И всегда рядом с неряшливою щедростью самородка следует что-нибудь завистливо рядовое и посредственное. Дела и поступки счастливого соперника кажутся ему чудачеством и безумием. Невежда всегда начинает с поучения и кончает кровью...»

*Борис Пастернак.
Из очерка «Поездка в армию»*

СМЕРТЬ САПЕРА

Мы время по часам заметили
И кверху поползли по склону.
Вот и обрыв. Мы без свидетелей
У края вражьей обороны.

Вот там она, и там, и тут она —
Везде, везде, до самой кручи.
Как паутиною опутана
Вся проволокою колючей.

Он наших мыслей не подслушивал
И не заглядывал нам в душу.
Он из конюшни вниз обрушивал
Свой бешеный огонь по Зуше.

Прожекторы, как ножки циркуля,
Лучом вонзались в коновязи.
Прямые попадания фыркали
Фонтанами земли и грязи.

Но чем обстрел дымил багровее,
Тем равнодушнее к осколкам,
В спокойствии и хладнокровии
Работали мы тихомолком.

Со мною были люди смелые.
Я знал, что в проволочной чаще
Проходы нужные проделаю
Для битвы, завтра предстоящей.

Вдруг одного сапера ранило¹.
Он отползал от вражьих линий,
Привстал, и дух от боли заняло,
И он упал в густой полыни.

Он приходил в себя урывками,
Осматривался на пригорке
И щупал место под нашивками
На почерневшей гимнастерке.

И думал: глупость, оцарапали,
И он отчалит от Казани,
К жене и к детям вверх к Сарапулю, —
И вновь и вновь терял сознание.

Все в жизни может быть издержано,
Изведаны все положенья,
Следы любви самоотверженной
Не подлежат уничтоженью.

Хоть землю грыз от боли раненый,
Но стонами не выдал братьев,
Врожденной стойкости крестьянина
И в обмороке не утратив.

¹ В архиве Пастернака сохранился «Дневник боевых действий» с донесением от 11 — 12 июля 1943-го: «В дивизии п. Ромашова группа саперов во главе с сержантом Коваленко получила задание ночью проделать проходы в проволочных заграждениях противника. От переднего края нашей обороны саперы поползли на высоту, там были проволочные заграждения врага, а в 150 м за ними — его окопы... При этом был тяжело ранен сапер Миксеев... Стоило раненому вскрикнуть или тяжело застонать — и саперы были бы обнаружены противником. Миксеев понял это. Превозмогая острую боль, крепко сжав зубы, он ни разу не застонал...»

Его живым успели вынести.
Час продышал он через силу.
Хотя за речкой почва глинистей,
Там вырыли ему могилу.

Когда, убитые потерю,
К нему сошлись мы на прощанье,
Заговорила артиллерия
В две тысячи своих гортаней.

В часах задвигались колесики.
Проснулись рычаги и шкивы.
К проделанной покойным просеке
Шагнула армия прорыва.

Сражение хлынуло в пробоину
И выкатилось на равнину,
Как входит море в край застроенный,
С разбега проломив плотину.

Пехота шла вперед маршрутами,
Как их располагал умерший.
Поздней немногими минутами
Противник дрогнул у Завершья.

Он оставлял снарядов штабели,
Котлы дымящегося супа,
Все, что обозные награбили,
Палатки, ящики и трупы.

Потом дорогою завещанной
Прошло с победами все войско.
Края расширившейся трещины
У Криворожья и Пропойска.

Мы оттого теперь у Гомеля,
Что на поляне в полнолунье

Своей души не экономили
 В пластунском деле накануне.
 Жить и сгорать у всех в обычае,
 Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
 Когда ей к свету и величию
 Своею жертвой путь прочертишь.

Декабрь 1943

* * *

«...Поездка на фронт имела для меня чрезвычайное значение, и даже не столько мне показала такого, чего бы я не мог ждать или угадать, сколько внутренне меня освободила. Вдруг все оказалось очень близко, естественно и доступно, в бóльшем сходстве с моими привычными мыслями, нежели с общепринятыми изображениями. Не боясь показаться хвастливым, могу сказать, что из целой и довольно большой компании ездивших, среди которых были Константин Александрович <Федин>, Всеволод Иванов и К. Симонов, больше всего по себе среди военных было мне, и именно со мной стали на наиболее короткую ногу в течение месяца принимавшие нас генералы...»

*Борис Пастернак — Валерию Авдееву.
 Из письма 21 октября 1943*

Особый интерес Пастернака привлекала личность погибшего в недавних боях генерала Л. Н. Гуртьева. В описании противоестественного зрелища разрушенного до основания Орла он особо отметил находящуюся в парке «скромную и славную могилу командира 308-й стрелковой дивизии, героя Сталинграда и Орла». Восхищение подвигом его

сибирских полков, выдержавших после 80-часового бесперебойного обстрела многосуточный штурм трех немецких дивизий, выразилось в стихотворении «Ожившая фреска». Оно построено на деталях церковного обихода и воспоминаниях героя о детских посещениях монастыря и церковных росписях.

ОЖИВШАЯ ФРЕСКА

Как прежде падали снаряды.
Высокое, как в дальнем плаваньи,
Ночное небо Сталинграда
Качалось в штукатурном саване.
Земля гудела, как молебен
Об отвращеньи бомбы воющей,
Кадильницею дым и щебень
Выбрасывая из побоища.
Когда урывками, меж схваток,
Он под огнем своих проводывал,
Необъяснимый отпечаток
Привычности его преследовал.
Где мог он видеть этот ежик
Домов с бездонными проломами?
Свидетельства былых бомбежек
Казались сказочно знакомыми,
Что означала в черной раме
Четырехпалая отметина?
Кого напоминало пламя
И выломанные паркетины?
И вдруг он вспомнил детство, детство,
И монастырский сад, и грешников,

И с общиною по соседству
Свист соловьев и пересмешников.

Он мать сжимал рукой сыновней,
И от копья архистратига ли
На темной росписи часовни
В такие ямы черти прыгали.

И мальчик облакался в латы,
За мать в воображеньи ратуя,
И налетал на супостата
С такой же свастикой хвостатою.

А дальше в конном поединке
Сиял над змеем лик Георгия.
И на пруду цвели кувшинки,
И птиц безумствовали оргии.

И родина, как голос пуши,
Как зов в лесу и грохот отзыва,
Манила музыкой зовущей
И пахла почкою березовой.

О, как он вспомнил те полянки
Теперь, когда своей погоней
Он топчет вражеские танки
С их грозной чешуей драконьею!

Он перешел^а земли границы,
И будущность, как ширь небесная,
Уже бушует, а не снится,
Приблизившаяся, чудесная.

1944

* * *

«С недавнего времени нами все больше завладевают ход и логика нашей чудесной победы. С каждым днем все яснее ее всеобъединяющая красота и сила.

...победил весь народ, всеми своими слоями, и радостями, и горестями, и мечтами, и мыслями. Победило разнообразье.

Победили все и в эти самые дни, на наших глазах, открывают новую, высшую эру нашего исторического существования.

Дух широты и всеобщности начинает проникать деятельность всех. Его действие сказывается и на наших скромных занятиях...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Поездка в армию»

ВЕСНА

Все нынешней весной особое.

Живее воробьев шумиха.

Я даже выразить не пробую,

Как на душе светло и тихо.

Иначе думается, пишется,

И громкою октавой в хоре

Земной могучий голос слышится

Освобожденных территорий.

Весеннее дыханье родины

Смывает след зимы с пространства

И черные от слез обводины

С заплаканных очей славянства.

Везде трава готова вылезти,
И улицы старинной Праги
Молчат, одна другой извилистей,
Но заиграют, как овраги.

Сказанья Чехии, Моравии
И Сербии с весенней негой,
Сорвавши пелену бесправия,
Цветами выйдут из-под снега.

Все дымкой сказочной подернется,
Подобно завиткам по стенам
В боярской золоченой горнице
И на Василии Блаженном.

Мечтателю и полуночнику
Москва милей всего на свете.
Он дома, у первоисточника
Всего, чем будет цвести столетье.

1944

* * *

«...Кажется, в военных стихах словарь Пастернака еще народнее, чем в предвоенных; речь его еще проще, еще целомудренней сторонится она всяческих приукрашений, малейшей риторики. Пастернак еще строже к себе в этих стихах о суровой године войны, когда строгость и суровость стали условием жизни, условием победы. Невольно приходит на память, с какою простотою писал Лермонтов о русском солдате в «Валерике» и «Бородине» и как Правде, одной Правде посвящал Лев Толстой свои героические «Севастопольские рассказы». Их дорогою идет Пастернак. Это нетрудно показать, и это легко увидеть без показа:

Вы ложились на дороге
И у взрытой колени
Спрашивали о подмоге
И не слышно ль, где свои.

А потом, жуя краюху,
По истерзанным полям
Шли вы, не теряя духа,
К обгорелым флигелям.

Эти стихи обращены к «безымянным героям осажденных городов», но все стихи Пастернака, о ком бы ни шла в них речь: о саперах, о защитниках Сталинграда или Ленинграда, — все они обращены к безымянным героям, так же, как лермонтовское «Бородино», так же, как толстовский «Севастополь»...

По точности рисунка, по простоте передачи, по суровой безыскусственности это почти проза, притом — самая строгая проза, признающая законы пушкинской простоты и толстовской суровости, но в этой-то «почти прозе» и заключена свежесть и сила стихов Пастернака о войне...»

*Сергей Дурылин.
Из рецензии на книгу «Земной простор»*





Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.





Б. Пастернак. 1946 г. Фото А. Лесса



* * *

«...Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победой, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание...»

Борис Пастернак.
Из романа «Доктор Живаго»

Пастернак мечтал о большой прозе в течение всей жизни, но попытки, предпринимаемые им ранее, затягиваясь на годы, оставались неоконченными. Пробудившиеся после победы в войне надежды на либерализацию общества укрепили Пастернака в его замысле и дали силу приступить к работе, которую он считал своим пожизненным долгом. Несмотря на то, что этим веянием скоро был положен конец, намерение писать роман стало внутренней необходимостью, чему способствовало нарастающее недовольство собой.

* * *

«...Я давно и долго, еще во время войны, томился благополучно продолжающимися положениями стихотворчества, литературной деятельности и имени,

как непрерывным накапливанием промахов и оплошностей, которым хотелось положить разительный и осязаемый, целиком перекрывающий конец, ...тут не обязательно было, чтобы это была трагедия или катастрофа, но было обязательно, чтобы это круто и крупно отменяло все нажитые навыки и начинало собою новое, леденяще и бесповоротно, чтобы это было вторжение воли в судьбу, вмешательство души в то, что как будто обходилось без нее и ее не касалось... Это было желанием начать договаривать все до конца и оценивать жизнь в духе былой безусловности, на ее широчайших основаниях».

*Борис Пастернак — Вячеславу Вс. Иванову.
Из письма 1 июля 1958*

* * *

«...Когда после великодушия судьбы, сказавшегося в факте победы, пусть и такой ценой купленной победы, когда после такой щедрости исторической стихии, повернули к жестокости и мудрствованиям самых тупых и темных довоенных годов, я испытал во второй (после 36 года) раз чувство потрясенного отталкивания от установившихся порядков, еще более сильное и категорическое, чем в первый раз...»

*Борис Пастернак.
Из заметки 11 февраля 1956 года*

Сменявшие друг друга правительственные постановления 1940-х гг. (о журналах «Звезда» и «Ленинград», о космополитизме и преклонении перед Западом) и критические проработки, сопро-

вождавшиеся идеологическими погромами, рассеивали и косили близких и знакомых, ежедневно угрожая жизни каждого. Но ни резкие нападки на Пастернака в печати, ни уничтоженный тираж сборника его стихов не нарушали течения его жизни, «установочные» статьи с обвинениями в разладе с современностью и клевете на советскую действительность грозили страшными последствиями, но он только ускорял темп работы.

«...по многим причинам мне нельзя сейчас задерживаться в собственной работе, все в такой неясности...»

Борис Пастернак — Марии Юдиной.
Из письма 27 марта 1949

ГАМЛЕТ

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси¹.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.

¹ Парафраза слов Христа из молитвы в Гефсиманском саду (Мф 14, 36).

Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.

Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

1946

НА СТРАСТНОЙ

Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,
И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение Псалтыри.

Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье.

Еще земля голым-гола,
И ей ночами не в чем
Раскачивать колокола
И вторить с воли певчим.

И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной субботы

Вода буравит берега
И вьет водовороты.
И лес раздет и непокрыт,
И на Страстях Христовых¹,
Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.

А в городе на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.

И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.

И видят свет у царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица —
И вдруг навстречу крестный ход
Выходит с плащаницей²,
И две березы у ворот
Должны посторониться.

И шествие обходит двор
По краю тротуара,

¹ Служба Страстей Христовых совершается вечером в Страстной четверг.

² Символизируя погребение, крестный ход обносит вокруг храма плащаницу — изображение Христа, лежащего во гробе.

И вносит с улицы в притвор
Весну, весенний разговор
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.

И март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как будто вышел человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И все до нитки роздал.

И пенье длится до зари,
И, нарыдавшись вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтырь или Апостол.

Но в полночь смолкнут тварь и плоть¹,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь,
Смерть можно будет побороть
Усиьем Воскресенья.

1946

Первоначальный план романа был уже с самого начала совершенно оформлен. Определяя характер своего главного героя, Пастернак писал:

«...Там один из героев — врач, каким был или мог

¹ Парафраза начальных слов песнопения на Страстную субботу: «Да молчит всякая плоть человека...»

быть А.П. Чехов. Он по замыслу романа должен умереть в 1929-м году (39 лет). От него остается хаотический архив, который приводит в порядок сводный его брат, живший в Сибири, которого умерший не знал и всю жизнь считал издали своим врагом. Этот брат находит в бумагах покойного много любопытного, записки, дневники и множество стихотворений, которые он сводит в книгу. Книга эта составит одну из глав второй части романа. Это будет поэзия, представляющая нечто среднее между Блоком, Маяковским, Есениным и мною: меня немного успокоенного и объективированного. Теперь, когда я пишу стихи, я их пишу в виде вкладов в стихотворное хозяйство этого героя...»

*Борис Пастернак — Валерию Авдееву.
Из письма 21 мая 1948*

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Как летом роем мошара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.
Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.

Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.

И все терялось в снежной мгле,
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздыхал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

1946

МАРТ

Солнце греет до седьмого пота,
И бушует, одурев, овраг.
Как у дюжей скотницы работа,
Дело у весны кипит в руках.

Чахнет снег и болен малокровьем
В веточках бессильно синих жил.
Но дымится жизнь в хлеву коровьем,
И здоровьем пышут зубья вил.

Эти ночи, эти дни и ночи!
Дробь капелей к середине дня,
Кровельных сосулк худосочье,
Ручейков бессонных болтовня!

Настежь все, конюшня и коровник,
Голуби в снегу клюют овес,
И всего живитель и виновник, —
Пахнет свежим воздухом навоз.

1946

БАБЬЕ ЛЕТО

Лист смородины груб и матерчат.
В доме хохот и стекла звенят.
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
И гвоздики кладут в маринад.

Лес забрасывает, как насмешник,
Этот шум на обрывистый склон,
Где сгоревший на солнце орешник
Словно жаром костра опален.

Здесь дорога спускается в балку,
Здесь и высохших старых коряг,
И лоскутницы осени жалко,
Все сметающей в этот овраг.

И того, что вселенная проще,
Чем иной полагает хитрец,
Что как в воду опущена роща,
Что приходит всему свой конец.

Что глазами бессмысленно хлопать,
Когда все пред тобой сожжено,
И осенняя белая копоть
Паутиною тянет в окно.

Ход из сада в заборе проломан
И теряется в березняке.
В доме смех и хозяйственный гомон,
Тот же гомон и смех вдалеке.

1946

В конце 1946 года Пастернак познакомился с Ольгой Всеволодовной Ивинской, которая работала в журнале «Новый мир». Она была его горячей поклонницей, и вместе с Лидией Корнеевной Чуковской он пригласил их на чтение первых глав романа и написанных к тому времени стихов, которое происходило 6 января 1947 года на квартире пианистки Марии Вениаминовны Юдиной.

Пастернак не делал тайны из того, что писал, и такие чтения в кругу друзей устраивал регулярно. Дружественные отзывы, которые он получал, помогали ему продолжать работу в атмосфере заинтересованного соучастия.

Образ героини романа Ларисы Антиповой был для Пастернака развитием пожизненно разрабатываемой им женской темы и живым воплощением

судьбы России. Такая трактовка зародилась в ранней юности, пронзила его болью и горечью в 1917 году при встрече с Еленой Виноград, ее подтверждение он увидел в судьбе Зинаиды Николаевны, которая стала героиней его неоконченной прозы, писавшейся в 1930-х годах.

Отражением его отношений с Ольгой Ивинской, радостных и светлых в это время, можно считать внешний облик Ларисы Федоровны в романе и ту теплоту, которой согреты посвященные ей главы. Пробудившийся после встречи с нею «резкий и счастливый личный отпечаток» дал ему силы справиться с трудностями работы над романом. Сознание греховности и заведомой обреченности его отношений с Ивинской придавало им особую яркость. Муки совести с одной стороны и легкомысленный эгоизм с другой — часто ставили их перед необходимостью расстаться, но жалость и жажда душевного тепла снова влекли его к ней.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Жизнь вернулась так же беспричинно,
Как когда-то странно прервалась.
Я на той же улице старинной,
Как тогда, в тот летний день и час.

Те же люди и заботы те же,
И пожар заката не остыл,
Как его тогда к стене Манежа
Вечер смерти наспех пригвоздил.

Женщины в дешевом затрапезе
Так же ночью топчут башмаки.
Их потом на кровельном железе
Так же распинают чердаки.

Вот одна походкою усталой
Медленно выходит за порог
И, поднявшись из полуподвала,
Переходит двор наискосок.

Я опять готовлю отговорки,
И опять все безразлично мне.
И соседка, обогнув задворки,
Оставляет нас наедине.

Не плачь, не морщь опухших губ,
Не собирай их в складки.
Разбередишь присохший струп
Весенней лихорадки.

Сними ладонь с моей груди,
Мы провода под током,
Друг к другу вновь, того гляди,
Нас бросит ненароком.

Пройдут года, ты вступишь в брак,
Забудешь неурядица.
Быть женщиной — великий шаг,
Сводить с ума — геройство.

А я пред чудом женских рук,
Спины, и плеч, и шеи
И так с привязанностью слуг
Весь век благоговею.

Но как ни сковывает ночь
Меня кольцом тоскливым,
Сильней на свете тяга прочь
И манит страсть к разрывам.

1947

На сборном поэтическом вечере в Политехническом музее, состоявшемся 7 февраля 1948 года под названием «Поэты за мир, за демократию», в числе 20 других читал свои стихи Пастернак. В списке приглашенных им на вечер была Ольга Ивинская. Пастернак встречал ее у входа. Она опаздывала, и он появился в зале в тот момент, когда Алексей Сурков говорил вступительное слово, внезапно прервавшееся оглушительными аплодисментами. Он не сразу понял, что аплодируют не его речи, а Пастернаку, старавшемуся незаметно проскользнуть на свое место в президиуме. Надо было видеть страшную гримасу, которой изказилось его лицо.

«...Всемирно вежливо хлопали, но когда наступила очередь Пастернака, зал опять, как при его появлении, разразился дружными долгими аплодисментами. ...Меня поразило его чтение. Он читал стихи как бы в очень камерной манере, совсем без декламации, вслушиваясь в них, подчеркивая интонацией смысловую сторону, но не отпуская и стихотворного размера, и ритмических каденций строфы, ускоряя и замедляя течение строки... Его скорее низкий голос шел из глубины и, казалось, захватывал его самого целиком этими произносимыми строками, и все окрашивалось

неповторимой интонацией взволнованного, живого и подлинного чувства, где-то почти на грани всхлипывания и захлеба...

Зал музея замирал и потом срывался в аплодисменты. Когда он запнулся, ему тут же подсказали строку. Казалось, все понимали, что присутствуют при чуде. Когда он кончил, его аплодисментами и криками заставили читать еще — «на бис». Он прочитал два новых стихотворения, которые многие уже знали: «Свеча» и «Рассвет». Сейчас кажется удивительным, как в то время можно было публично, в Большом зале Политехнического музея читать такие откровенно христианские стихи. Но, по-моему, дело в том, что тогда одичание было настолько глубоким, что огромное большинство, и в том числе, конечно, и официальные лица, просто не понимало, кто тот Ты, к кому обращается поэт...»

Михаил Поливанов.

Из воспоминаний «Тайная свобода»

РАССВЕТ

Ты значил всё в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о тебе
Ни слуху не было, ни духу.

И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я Твой Завет
И как от обморока ожил.

Мне к людям хочется в толпу,
В их утреннее оживленье.

Я всё готов разнести в щепу
И всех поставить на колени.

И я по лестнице бегу,
Как будто выхожу впервые
На эти улицы в снегу
И вымершие мостовые.

Везде встают, огни, уют,
Пьют чай, торопятся к трамваям.
В течение нескольких минут
Вид города неузнаваем.

В воротах вьюга вяжет сеть
Из густо падающих хлопьев,
И, чтобы вовремя успеть,
Все мчатся недоев-недопив.

Я чувствую за них за всех,
Как будто побывал в их шкуре,
Я таю сам, как тает снег,
Я сам, как утро, брови хмурю.

Со мною люди без имен,
Деревья, дети, домоседы.
Я ими всеми побежден,
И только в том моя победа.

1947

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.

Его согревало дыхание вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горячей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.

И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Всё будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Всё великолепье цветной мишуры...
...Всё злей и свирепей дул ветер из степи...
...Все яблоки, все золотые шары.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.
— Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, —
Сказали они, запахнув кожухи.

От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листьями слюды
Вели за хибарку босые следы,
На эти следы, как на пламя огарка,
Ворчали овчарки при свете звезды.

Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды
Все время незримо входил в их ряды.

Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.
Незримиыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.
— А кто вы такие? — спросила Мария.
— Мы племя пастушье и неба послы,
Пришли вознести вам обоим хвалы.
— Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

Средь серой, как пепел, предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звезды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстие скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленьи дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного налево

От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву,
Как гостя, смотрела звезда Рождества.

1947

* * *

«...Вдруг особенно ясно стало — кто Вы и что Вы. Иной плод созревает более, иной менее зримо. Духовная Ваша мощь вдруг сбросила с себя все второстепенные значимости... Это непрекращающееся высшее созерцание совершенства и непререкаемой истинности стиля, пропорций, деталей, классического соединения глубоко запечатленного за ясностью формы чувства... Если бы Вы ничего кроме «Рождества» не написали в жизни, этого было бы достаточно для Вашего бессмертия на земле и на небе...»

*Мария Юдина — Борису Пастернаку.
Из письма 7—8 февраля 1947*

ЧУДО

Он шел из Вифании в Ерусалим,
Заранее грустью предчувствий томим.

Колющий кустарник на круче был выжжен,
Над хижиной ближней не двигался дым,
Был воздух горяч и камыш неподвижен.
И Мертвого моря покой недвижим.

И в горечи, спорившей с горечью моря,
Он шел с небольшою толпой облаков
По пыльной дороге на чье-то подворье,
Шел в город на сборище учеников.

И так углубился Он в мысли свои,
Что поле в уныньи запахло полынью.
Все стихло. Один Он стоял посредине,
А местность лежала пластом в забытии.
Все перемешалось: теплынь и пустыня,
И ящерицы, и ключи, и ручьи.

Смоковница высилась невдалеке,
Совсем без плодов, только ветки да листья.
И Он ей сказал: «Для какой ты корысти?
Какая мне радость в твоём столбняке?

Я жажду и алчу, а ты пустоцвет,
И встреча с тобой безотрадней гранита.
О, как ты обидна и недаровита!
Останься такой до скончания лет».

По дереву дрожь осужденья прошла,
Как молнии искра по громоотводу.
Смоковницу испепелило дотла.

Найдись в это время минута свободы
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
Успели б вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятении, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох.

1947

Порою отношения Пастернака с Ольгой Ивинской заходили в мучительный тупик, но он ни за что не хотел расставаться с Зинаидой Николаевной, ломать и менять свою жизнь. Его супружес-

кие узы, претерпев многие превратности, потеряли прежнюю нежность, тем более что Зинаида Николаевна после тяжело пережитой смерти своего 20-летнего обожаемого сына Адриана Нейгауза откровенно призналась в невозможности более быть женой, оставив за собой только роль хозяйки дома. Но сохраненное на всю жизнь чувство любви к ней не позволяло Пастернаку ее оставить. К весне 1949 года для него в очередной раз определилась необходимость покончить с душевной раздвоенностью и, как это ни было трудно, положить конец своим отношениям с Ольгой Ивинской.

* * *

«...У меня была одна новая большая привязанность, но так как моя жизнь с Зиной настоящая, мне рано или поздно надо было первую пожертвовать, и, странное дело, пока все было полно терзаний, раздвоения, укурами больной совести и даже ужасами, я легко сносил, и даже мне казалось счастьем все то, что теперь, когда я целиком всюю своею совестью безвыходно со своими, наводит на меня безутешное уныние: мое одиночество и хождение по острию ножа в литературе, конечная бесцельность моих писательских усилий, странная двойственность моей судьбы «здесь» и «там» и пр. и пр.

Тогда я писал первую книгу романа и переводил Фауста среди помех и препятствий, с отсутствующей

головой, в вечной смене трагедий с самым беззаботным ликованием, и все мне было трын-трава и казалось, что все мне удастся...»

*Борис Пастернак — Ольге Фрейденберг.
Из письма 7 августа 1949*

Жалость и тревога, которыми полно приведенное письмо, вскоре сменились реальным страхом за судьбу Ольги Ивинской. Ею заинтересовались судебные органы, и после неоднократных вызовов и допросов она была арестована и приговорена к пяти годам каторжных работ.

«...Жизнь в полной буквальности повторила последнюю сцену Фауста, «Маргарита в темнице». Бедная моя О. последовала за дорогим нашим Тицианом. Это случилось совсем недавно, девятого (неделю тому назад).

...Наверное, соперничество человека никогда в жизни не могло мне казаться таким угрожающим и опасным, чтобы вызывать ревность в ее самой острой и сосущей форме. Но я часто, и в самой молодости, ревновал женщину к прошлому или к болезни, или к угрозе смерти или отъезда, к силам далеким и непреодолимым. Так я ревную ее сейчас к власти неволи и неизвестности, сменившей прикосновение моей руки или мой голос...

А страдание только еще больше углубит мой труд, только проведет еще более резкие черты во всем моем существе и сознании. Но причем она, бедная, не правда ли?...»

*Борис Пастернак — Нине Табидзе.
Из письма 15 октября 1949*

РАЗЛУКА

С порога смотрит человек,
Не узнавая дома,
Ее отъезд был как побег,
Везде следы разгрома.

Повсюду в комнатах хаос.
Он меры разоренья
Не замечает из-за слез
И приступа мигрени.

В ушах с утра какой-то шум,
Он в памяти иль грезит?
И почему ему на ум
Всё мысль о море лезет?

Когда сквозь иней на окне
Не видно света Божья,
Безвыходность тоски вдвойне
С пустыней моря схожа.

Она была так дорога
Ему чертой любою,
Как морю близки берега
Всей линией прибоя.

Как затопляет камыши
Волнение после шторма,
Ушли на дно его души
Ее черты и формы.

В года мытарств, во времена
Немыслимого быта
Она волной судьбы со дна
Была к нему прибита.

Среди препятствий без числа,
Опасности минуя,
Волна несла ее, несла
И пригнала вплотную.

И вот теперь ее отъезд,
Насильственный, быть может.
Разлука их обоих съест,
Тоска с костями сгложет.

И человек глядит кругом:
Она в момент ухода
Всё выворотила вверх дном
Из ящиков комода.

Он бродит и до темноты
Укладывает в ящик
Раскиданные лоскуты
И выкройки образчик.

И, наколовшись об шитье
С невынутой иглой,
Внезапно видит всю ее
И плачет втихомолку.

1953

СВИДАНИЕ

Засыпет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги:
За дверью ты стоишь.

Одна в пальто осеннем,
Без шляпы, без калош,
Ты борешься с волнением
И мокрый снег жуешь.

Деревья и ограды
Уходят вдаль, во мглу.
Одна средь снегопада
Стоишь ты на углу.

Течет вода с косынки
По рукаву в обшлаг,
И каплями росинки
Сверкают в волосах.

И прядью белокурой
Озарены: лицо,
Косынка и фигура
И это пальтецо.

Снег на ресницах влажен,
В твоих глазах тоска,
И весь твой облик сложен
Из одного куска.

Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.

И в нем навек засело
Смиренье этих черт,
И оттого нет дела,
Что свет жестокосерд.

И оттого двоится
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы
Меж нас я не могу.

Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?

1950

ОСЕНЬ

Я дал разъехаться домашним,
Все близкие давно в разброде,
И одиночеством всегдашним
Полно всё в сердце и природе.

И вот я здесь с тобой в сторожке
В лесу безлюдно и пустынно.
Как в песне, стежки и дорожки
Позаросли наполовину.

Теперь на нас одних с печалью
Глядят бревенчатые стены.
Мы брать преград не обещали,
Мы будем гибнуть откровенно.

Мы сядем в час и встанем в третьем,
Я с книгою, ты с вышиваньем,
И на рассвете не заметим,
Как целоваться перестанем.

Еще пышней и бесшабашней
Шумите, осыпайтесь, листья,
И чашу горечи вчерашней
Сегодняшней тоской превысьте.

Привязанность, влечение, прелесть!
Рассеемся в сентябрьском шуме!
Заройся вся в осенний шелест!
Замри или ополоумей!

Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковой кистью.

Ты — благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга,
А корень красоты — отвага,
И это тянет нас друг к другу.

Ноябрь — декабрь 1949

НЕЖНОСТЬ

Ослепляя блеском,
Вечерело в семь.
С улиц к занавескам
Приникала темь.

Замирали звуки
Жизни в слободе.
И блуждали руки
Неизвестно где.

Люди — манекены,
Но слепая страсть
Тянется к вселенной
Ощупью припасть.

Чтобы под ладонью
Слушать, как поет
Бегство и погоня,
Трепет и полет.

Чувство на свободе —
Это налегке
Рвущая поводья
Лошадь в мундштуке.

1950

Политические тучи, все более сгущавшиеся в последние годы, вылились волной репрессий, прокатившейся по всей стране и достигшей в 1949 году своего максимума, по массовости и бесчеловечности ничем не отличаясь от террора 1930-х годов. Это был год широко отмечавшегося сталинского 70-летия, самый мрачный и страшный по сравнению с предшествовавшими. Арестовывали и ссылали отбывших срок и брали новых. Пастернак регулярно писал в лагеря и ссылки, денежно помогал сосланым и семьям арестованных, хотя это было опасно. В первую очередь надо назвать вдову расстрелянного Тициана Табидзе, сестру и дочь Марины Цветаевой, которая после лагеря жила в Рязани, а сейчас была выслана в Туруханск, Кайсына Кулиева, сосланного во Фрунзе, и многих других. Возможность

такой помощи достигалась каторжной работой над переводами пьес Шекспира, «Фауста» Гёте, Шандора Петефи и грузинских поэтов.

ЗЕМЛЯ

В московские особняки
Врывается весна нахрапом,
Выпархивает моль за шкапом
И ползает по летним шляпам,
И прячут шубы в сундуки.

По деревянным антресолям
Стоят цветочные горшки
С левкоем и желтофиолем,
И дышат комнаты привольем,
И пыхнут пылью чердаки.

И улица запанибрата
С оконницей подслеповатой,
И белой ночи и закату
Не разминуться у реки.

И можно слышать в коридоре,
Что происходит на просторе,
О чем в случайном разговоре
С капелью говорит апрель.
Он знает тысячи историй
Про человеческое горе,
И по заборам стынут зори,
И тянут эту канитель.

И та же смесь огня и жути
На воле и в жилом уюте,
И всюду воздух сам не свой,
И тех же верб сквозные прутья,
И тех же белых почек вздутья
И на окне и на распутьи,
На улице и в мастерской.

Зачем же плачет даль в тумане,
И горько пахнет перегной?
На то ведь и мое призванье,
Чтоб не скучали расстоянья,
Чтобы за городскою гранью
Земле не тосковать одной.

Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера — прощанья,
Пирушки наши — завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.

1947

МАГДАЛИНА

1

Чуть ночь, мой демон тут как тут,
За прошлое моя расплата.
Придут и сердце мне сосут
Воспоминания разврата,

Когда, раба мужских причуд,
Была я душой бесноватой
И улицей был мой приют.

Осталось несколько минут,
И тишь наступит гробовая.
Но раньше, чем они пройдут,
Я жизнь свою, дойдя до края,
Как алавастровый сосуд,
Перед тобою разбиваю.

О, где бы я теперь была,
Учитель мой и мой Спаситель,
Когда б ночами у стола
Меня бы вечность не ждала,
Как новый в сети ремесла
Мной завлеченный посетитель.

Но объясни, что значит грех,
И смерть, и ад, и пламень серный,
Когда я на глазах у всех
С тобой, как с деревом побег,
Срослась в своей тоске безмерной.

Когда твои стопы, Исус,
Оперши о свои колени,
Я, может, обнимать учусь
Креста четырехгранный брус
И, чувств лишаясь, к телу рвусь,
Тебя готова к погребенью.

У людей пред праздником уборка.
В стороне от этой толчеи
Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые твои.

Шарю и не нахожу сандалий
Ничего не вижу из-за слез.
На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.

Ноги я твои в подол уперла,
Их слезами облила, Исус,
Ниткой бус их обмотала с горла,
В волосы зарыла, как в бурнус.

Будущее вижу так подробно,
Словно ты его остановил.
Я сейчас предсказывать способна
Вещим ясновиденьем сивилл.

Завтра упадет завеса в храме,
Мы в кружок собьемся в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне.

Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерч, над головою
Будет к небу рваться этот крест.

Брошусь на землю у ног распятыя,
Обомру и закушу уста.

Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.

Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и рощ?

Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до Воскресенья дорасту.

Ноябрь — декабрь 1949

После ареста Ольги Ивинской Пастернак продолжал заботиться о ее детях и матери, писал ей в лагерь. Несколько сохранившихся открыток, посланных в Потьминские лагеря, написаны от лица матери, потому что там разрешено было получать письма только от родных.

Борис Пастернак — Ольге Ивинской.

31 мая 1951.

Дорогая моя Олюша, прелесть моя! Ты совершенно права, что недовольна нами. Наши письма к тебе должны были прямо из души изливаться потоками нежности и печали. Но не всегда можно себе позволить это естественнейшее движение. Во все это замешивается оглядка и забота. Б. на днях видел тебя во сне в длинном и белом. Он куда-то все пропадал и

оказывался в разных положениях и ты каждый раз возникала рядом справа, легкая и обнадеживающая. Он решил, что это к выздоровлению, — шея все его мучит. Он послал тебе однажды большое письмо и стихи, кроме того, я тебе послала как-то несколько книжек. Видимо, все это пропало. Бог с тобой, родная моя. Все это как сон. Целую тебя без конца.

Твоя мама.

7 августа 1951.

Родная моя! Я вчера, шестого, написала тебе открытку, и она где-то на улице выпала у меня из кармана. Я загадала: если она не пропадет и каким-нибудь чудом дойдет до тебя, значит, ты скоро вернешься и все будет хорошо. В этой открытке я тебе писала, что никогда не понимаю Б. Л. и против вашей дружбы. Он говорит, что если бы он смел так утверждать, он сказал бы, что ты самое высшее выражение его существа, о каком он мог мечтать. Вся его судьба, все его будущее это нечто несуществующее. Он живет в этом фантастическом мире и говорит, что все это — ты, не разумея под этим ни семейной, ни какой-либо другой ломки. Тогда что же он под этим понимает? Крепко тебя обнимаю, чистота и гордость моя, желанная моя.

Твоя мама.

4 ноября 1952.(?)

Родная моя, ангел мой! Здравствуй, здравствуй! Мысленно постоянно говорю с тобой, слышишь ли ты меня? Страшно подумать, что ты перенесла и что

вперед, но ни слова об этом! Не падай духом, мужайся, мы хлопотали и хлопочем, не надо терять надежды. Как чудно ты написала свою открытку, все вложила в несколько строчек, я так не умею. Буду узнавать о тебе от твоей мамы. Я не буду писать тебе, так будет лучше. Да и к чему? Ты все знаешь.

Осенью 1952 года Пастернак, как и в прошлые годы, много работал на огороде, один выкопал большой урожай картофеля. Окончив очередную главу романа «Доктор Живаго», он повез ее в город машинистке. Дома у него случился инфаркт, и его увезли в Боткинскую больницу. Первую неделю он лежал в общем отделении, врачи серьезно опасались за его жизнь.

* * *

«...Когда это случилось, и меня отвезли, и я пять вечernih часов пролежал в приемном покое, а потом ночь в коридоре обыкновенной громадной и переполненной городской больницы, то в промежутках между потерей сознания и приступами тошноты и рвоты меня охватывало такое спокойствие и блаженство! Я думал, что в случае моей смерти не произойдет ничего несвоевременного, непоправимого. Зине с Ленечкой на полгода средств хватит, а там они осмотрятся и что-нибудь предпримут. У них будут друзья, никто их не обидит. А конец не застанет меня врасплох, в разгаре работ, за чем-нибудь недоделанным. То немного, что можно было сделать среди

препятствий, которые ставило время, сделано (перевод Шекспира, Фауста, Бараташвили).

А рядом все шло таким знакомым ходом, так выпукло группировались вещи, так резко ложились тени! Длинный верстовой коридор с телами спящих, погруженный во мрак и тишину, кончался окном в сад с чернильной мутью дождливой ночи и отблеском городского зарева Москвы, за верхушками деревьев. И этот коридор, и зеленый шар лампового абажура на столе у дежурной сестры у окна, и тишина, и тени нянек, и соседство смерти за окном и за спиной — все это по сосредоточенности своей было таким бездонным, таким сверхчеловеческим стихотворением. В минуту, которая казалась последнею в жизни, больше, чем когда-либо до нее, хотелось говорить с Богом, славословить видимое, ловить и запечатлевать его.

«Господи, — шептал я, — благодарю тебя за то, что твой язык — величественность и музыка, что ты сделал меня художником, что творчество — твоя школа, что всю жизнь ты готовил меня к этой ночи». И я ликовал и плакал от счастья...»

*Борис Пастернак — Нине Табидзе.
Из письма 17 января 1953*

В БОЛЬНИЦЕ

Стояли как перед витриной,
Почти запрудив тротуар.
Носилки втокнули в машину,
В кабину вскочил санитар.

И скорая помощь, минуя
Панели, подъезды, зевак,
Сумятицу улиц ночную,
Нырнула огнями во мрак.

Милиция, улицы, лица
Мелькали в свету фонаря.
Покачивалась фельдшерица
Со склянкою нашатыря.

Шел дождь, и в приемном покое
Уныло шумел водосток,
Меж тем как строка за строкою
Марали опросный листок.

Его положили у входа.
Всё в корпусе было полно.
Разило парами иода,
И с улицы дуло в окно.

Окно обнимало квадратом
Часть сада и неба клочок.
К палатам, полам и халатам
Присматривался новичок.

Как вдруг из расспросов сиделки,
Покачивавшей головой,
Он понял, что из переделки
Едва ли он выйдет живой.

Тогда он взглянул благодарно
В окно, за которым стена

Была точно искрой пожарной
Из города озарена.

Там в зареве рдела застава,
И, в отсвете города, клен
Отвешивал веткой корявой
Больному прощальный поклон.

«О Господи, как совершенны
Дела твои, — думал больной, —
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О Боже, волнения слезы
Мешают мне видеть тебя.

Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным твоим сознать.

Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук твоих жар.
Ты держишь меня, как изделие,
И прячешь, как перстень, в футляр».

1956

В конце декабря Пастернака навестила в больнице Анна Ахматова. Она рассказывала о своем разговоре с ним на площадке лестницы у окна, выходящего в сад. Он передал ей тогда как самое

важное свое переживание, что теперь он не боится смерти. В стихотворении 1960 года, посвященном кончине Пастернака, Ахматова вспоминала об этом разговоре.

* * *

Словно дочка слепого Эдипа,
Муза к смерти провидца вела,
А одна сумасшедшая липа
В этом траурном мае цвела
Прямо против окна, где когда-то
Он поведал мне, что пред ним
Вьется путь золотой и крылатый,
Где он вышнюю волей храним.

*11 июля 1960. Москва.
Боткинская больница.*

*После больницы Пастернак поехал в санаторий
Болшево, где вскоре начал работать. Там он встре-
тил известие о смерти Сталина.*

* * *

«...Февральская революция застала меня в глуши
Вятской губернии на Каме, на одном заводе. Чтобы
попасть в Москву, я проехал 250 верст на санях до
Казани, сделав часть дороги ночью, узкою лесной
тропой в кибитке, запряженной тройкою гусем, как в
«Капитанской дочке». Нынешнее трагическое собы-
тие застало меня тоже вне Москвы, в зимнем лесу, и
состояние здоровья не позволит мне в дни прощанья

приехать в город. Вчера утром вдали за березами пронесли свернутые знамена с черною каймой, я понял, что случилось. Тихо кругом, все слова наполнились до краев значением, истиной. И тихо в лесу...»

*Борис Пастернак — Варламу Шаламову.
Из письма 7 марта 1953*

* * *

«...Два раза написать Вам было моей сильнейшей потребностью: в дни смерти и похорон Сталина и в особенности в день обнародования амнистии, которая стольких, по моему пониманию, должна коснуться, и, в первую очередь, Тициана. Но, во-первых, больше чем когда-либо нам нужно терпение, чтобы сохранить силы и дожить до этой радости...

Больше чем когда-либо я хочу дописать роман: перенесенная болезнь показала мне границы сил, которыми я располагаю. Как все люди, я не знаю, сколько часов, или дней, или месяцев и лет в моем распоряжении, но теперь я эту неизвестность ощущаю острее, чем год назад. И свободное время трачу над работой над вещью. Труда над окончанием романа предстоит еще много...»

*Борис Пастернак — Нине Табидзе.
Из письма 4 апреля 1953*

За этот год сильно продвинулась прозаическая часть романа, летом были написаны 11 стихотворений в тетрадь Юрия Живаго.

БЕЛАЯ НОЧЬ

Мне далекое время мерещится,
Дом на Стороне Петербургской.
Дочь степной небогатой помещицы,
Ты — на курсах, ты родом из Курска.

Ты — мила, у тебя есть поклонники.
Этой белою ночью мы оба,
Примостясь на твоём подоконнике,
Смотрим вниз с твоего небоскреба.

Фонари, точно бабочки газовые,
Утро тронуло первую дрожью.
То, что тихо тебе я рассказываю,
Так на спящие дали похоже!

Мы охвачены тою же самою
Оробелою верностью тайне,
Как раскинувшийся панорамой
Петербург за Невою бескрайней.

Там вдали, по дремучим урочищам,
Этой ночью весеннею белой,
Соловьи славословьем грохочущим
Оглашают лесные пределы.

Ошалелое щелканье катится.
Голос маленькой птички ледащей
Пробуждает восторг и сумятицу
В глубине очарованной чащи.

В те места босоногою странницей
Пробирается ночь вдоль забора,

И за ней с подоконника тянется
След подслушанного разговора.

В отголосках беседы услышанной
По садам, огороженным тёсом,
Ветви яблоновые и вишенные
Одеваются цветом белёсым.

И деревья, как призраки, белые
Высыпают толпой на дорогу,
Точно знаки прощальные дела
Белой ночи, выдавшей так много.

1953

ВЕСЕННЯЯ РАСПУТИЦА

Огни заката догорали.
Распутицей в бору глухом
В далекий хутор на Урале
Тащился человек верхом.

Болтала лошадь селезенкой,
И звону шлепавших подков
Дорóгой вторила вдогонку
Вода в воронках родников.

Когда же опускал поводья
И шагом ехал верховой,
Прокатывало половодье
Вблизи весь гул и грохот свой.

Смеялся кто-то, плакал кто-то,
Крошились камни о кремни,

И падали в водовороты
С корнями вырванные пни.

А на пожарище заката,
В далекой прочерни ветвей,
Как гулкий колокол набата,
Неистовствовал соловей.

Где ива вдовый свой повойник
Клонила, свесивши в овраг,
Как древний соловей-разбойник
Свистал он на семи дубах.

Какой беде, какой зазнобе
Предназначался этот пыл?
В кого ружейной крупной дробью
Он по чашобе запустил?

Казалось, вот он выйдет лешим
С привала беглых каторжан
Навстречу конным или пешим
Заставам здешних партизан.

Земля и небо, лес и поле
Ловили этот редкий звук,
Размеренные эти доли
Безумья, боли, счастья, мук.

1953

ЛЕТО В ГОРОДЕ

Разговоры вполголоса,
И с поспешностью пылкой
Кверху собраны волосы
Всей копною с затылка.

Из-под гребня тяжелого
Смотрит женщина в шлеме,
Запрокинувши голову
Вместе с косами всеми.

А на улице жаркая
Ночь сулит непогоду,
И расходятся, шаркая,
По домам пешеходы.

Гром отрывистый слышится,
Отдающийся резко,
И от ветра колышется
На окне занавеска.

Наступает безмолвие,
Но по-прежнему парит,
И по-прежнему молнии
В небе шарят и шарят.

А когда светозарное
Утро знойное снова
Сушит лужи бульварные
После ливня ночного,

Смотрят хмуро по случаю
Своего недосыпа
Вековые, пахучие,
Неотцветшие липы.

1953

ВЕТЕР

Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все деревья
Со всею далью беспредельной,
Как парусников кузова
На глади бухты корабельной.
И это не из удалства
Или из ярости бесцельной,
А чтоб в тоске найти слова
Тебе для песни колыбельной.

1953

ХМЕЛЬ

Под ракитой, обвитой плющом,
От ненастья мы ищем защиты.
Наши плечи покрыты плащом,
Вкруг тебя мои руки обвиты.

Я ошибся. Кусты этих чаш
Не плющом перевиты, а хмелем.
Ну так лучше давай этот плащ
В ширину под собою расстелим.

1953

БЕССОННИЦА

Который час? Темно. Наверно, третий.
Опять мне, видно, глаз сомкнуть не суждено.
Пастух в поселке щелкнет плетью на рассвете.
Потянет холодом в окно,
Которое во двор обращено.

А я один.
Неправда, ты
Всей белизны своей сквозной волной
Со мной.

1953

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Вытянись вся в длину,
Во весь рост
На полевом стану
В обществе звезд.

Незыблем их порядок.
Извечен ход времен.
Да будет так же сладок
И нерушим твой сон.

Мирами правит жалость,
Любовью внушена
Вселенной небывалость
И жизни новизна.

У женщины в ладони,
У девушки в горсти
Рождений и агоний
Начала и пути.

1953

В двух последних стихотворениях, которые потом не были включены в окончательный текст романа «Доктор Живаго», чувствуется ожидание приезда Ольги Ивинской и давние воспоминания о встречах с ней. Но радость возвращения не могла заглушить в ней ужас всего того, что ей пришлось пережить.

* * *

«...Ничего, конечно, для меня существенным образом не изменилось, кроме одного, в нашей жизни самого важного. Прекратилось всedневное и повальное исчезновение имен и личностей, смягчилась судьба выживших, некоторые возвращаются...»

*Борис Пастернак — Ольге Фрейденберг.
Из письма 3 декабря 1953*

Они виделись с О. Ивинской изредка. Пастернак по-прежнему поддерживал материально ее и детей, помогал ей доставать переводную работу, которая дала ей возможность вскоре получить прописку в Москве. В апреле 1954 года он пригласил ее на чтение своего перевода «Фауста» в Союз писателей. Это было ее первое появление на публике. Пастернак читал отрывки своего перевода, попутно комментируя их своими соображениями. В сцене «Маргарита в тюрьме» он не мог сдерживать слез. Но прежние отношения долго не возобновлялись, Пастернак не хотел возвращаться к прошлому, мучительно им прерванному в свое

время. Но он чувствовал неоплатный долг совести перед нею, перенесшей нечеловеческие страдания тюрьмы и лагерей.

* * *

«...В послевоенные годы я познакомился с молодой женщиной Ольгой Всеволодовной Ивинской, но не вынеся душевной раздвоенности и тихого, покорного горя своей жены, я должен был пожертвовать своей новой близостью и с болью разорвал свои отношения с О.В. Вскоре она была арестована и приговорена к пяти годам тюрьмы и концентрационных лагерей. Ее арестовали, как близкого мне, с точки зрения тайной полиции, человека, чтобы угрозами и мучительными допросами добиться показаний на меня, чтобы потом можно было осудить меня и уничтожить. Я обязан жизнью ее мужеству и выдержке...»

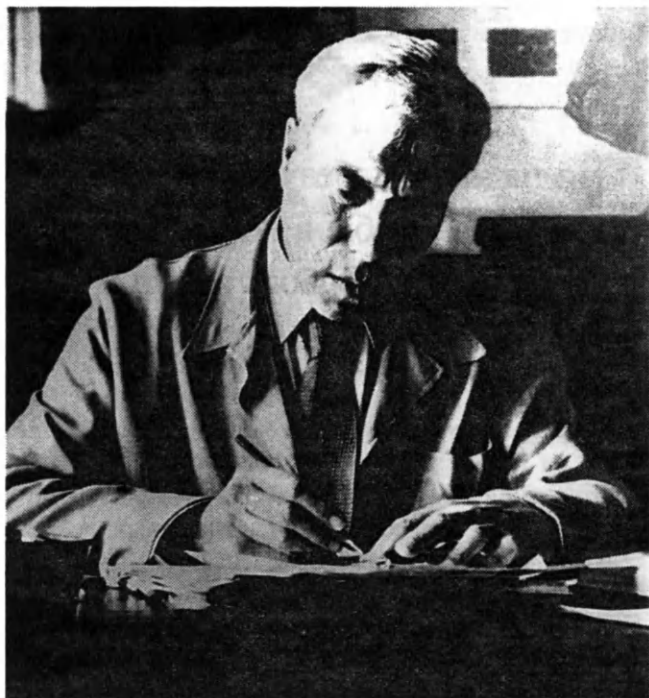
*Борис Пастернак — Ренате Швайцер.
Из письма 7 мая 1958. Перевод с немецкого*

К концу 1954 года снова возобновились поначалу редкие свидания Пастернака с Ольгой Ивинской, слезы Зинаиды Николаевны, угрызения совести и чувство вины перед сыном. Летом 1955 года Ольга Ивинская сняла себе комнату в деревне, соседней с Переделкиным. Постепенно она взяла на себя издательские дела Пастернака, разговоры с редакторами, контроль за выплатой денег, что освобождало его от утомительных поездок в город.



Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.





Пастернак у себя за письменным столом.
Фото К. Каппа. 1958 г.



Весной 1955 года Гослитиздат предложил выпустить сборник стихотворений Пастернака. Составителем был назначен молодой редактор Н.В. Банников, близкий друг Ольги Всеволодовны.

* * *

«...Зимой после окончательной отделки романа очередным делом стала забота о книге избранных стихотворений и ее подготовка. Возникновение вступительного очерка — заслуга Банникова, составителя, попросившего меня о статье. Кроме того, ему требовались новые стихи для последнего, дополнительного раздела книги, их надо было написать, и едва только я кончил статью, я принялся за стихи. Я их пишу не глубоко, не напряженно, как очень давно, до революции, совершенно не сознаю и не чувствую их качества и написал уже довольно много...»

*Борис Пастернак — Марине Баранович.
Из письма 4 августа 1956*

* * *

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но поражения от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

1956

* * *

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.

О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях.

Я вывел бы ее закон,
Ее начало,
И повторял ее имен
Инициалы.

Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд,
Гуськом, в затылок.

В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.

Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды.

Достигнутого торжества
Игра и мука —
Натянутая тетива
Тугого лука.

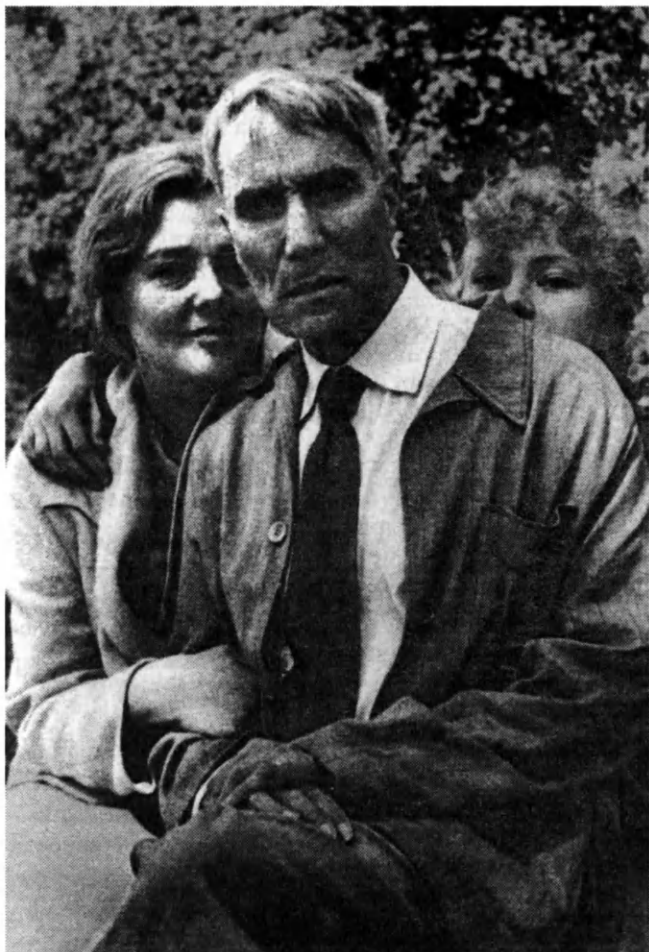
1956

ЕВА

Стоят деревья у воды,
И полдень с берега крутого
Закинул облака в пруды,
Как переметы рыболова.

Как невод, тонет небосвод,
И в это небо, точно в сети,
Толпа купальщиков плывет —
Мужчины, женщины и дети.

Пять-шесть купальщиц в лозняке
Выходят на́ берег без шума
И выжимают на песке
Свои купальные костюмы.



Пастернак с Ольгой Ивинской и ее дочерью
в санатории в Узком.
Фото А. Лесса. 1957 г.

И наподобие ужей
Ползут и выются кольца пряжи,
Как будто искуситель-змей
Скрывался в мокром трикотаже.

О женщина, твой вид и взгляд
Ничуть меня в тупик не ставят.
Ты вся — как горла перехват,
Когда его волнение сдавит.

Ты создана как бы вчерне,
Как строчка из другого цикла,
Как будто не шутя во сне
Из моего ребра возникла.

И тотчас вырвалась из рук
И выскользнула из объятий,
Сама — смятение и испуг
И сердца мужеского сжатие.

1956

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Недотрога, тихоня в быту,
Ты сейчас вся огонь, вся горенье.
Дай запрю я твою красоту
В темном тереме стихотворенья.

Посмотри, как преображена
Огневой кожурой абажура
Конура, край стены, край окна,
Наши тени и наши фигуры.

Ты с ногами сидишь на тахте,
Под себя их поджав по-турецки.
Все равно, на свету, в темноте,
Ты всегда рассуждаешь по-детски.

Замечтавшись, ты нижешь на шнур
Горсть на платье скатившихся бусин.
Слишком грустен твой вид, чересчур
Разговор твой прямой безыскусен.

Пошло слово любовь, ты права.
Я придумаю кличку иную.
Для тебя я весь мир, все слова,
Если хочешь, переименую.

Разве хмурый твой вид передаст
Чувств твоих рудоносную залежь,
Сердца тайно светящийся пласт?
Ну так что же глаза ты печалишь?

1956

Весна 1956 года после выступления Хрущева на XX съезде партии с докладом, разоблачавшим культ Сталина, разрядила душную атмосферу лжи струею свежего воздуха. Вскрывшиеся страшные тайны и подробности гибели замученных в застенках и расстрелянных людей рождали мысль «написать памяти погибших и убиенных наподобие ектеньи в панихиде». Стихотворение Пастернака, по теме сходное с замыслом ахматовского «Реквиема», характеризуется близостью православному канонам.

ДУША

Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.

Тела их бальзамируя,
Им посвящая стих,
Рыдающею лирою
Оплакивая их,

Ты в наше время шкурное
За совесть и за страх
Стоишь могильной урной,
Покоющей их прах.

Их муки совокупные
Тебя склонили ниц.
Ты пахнешь пылью трупною
Мертвецких и гробниц.

Душа моя, скудельница¹,
Все виденное здесь
Перемолов, как мельница,
Ты превратила в смесь.

И дальше перемалывай
Все бывшее со мной,
Как сорок лет без малого
В погостный перегной.

1956

¹ Место общего погребения.

Пробуждение всколыхнуло литературную общественность. Оживление издательской деятельности ознаменовалось новыми начинаниями. Казавшееся непредставимым еще в прошлом году теперь неожиданно становилось возможным. Ветание этих возможностей коснулось и Бориса Пастернака. Рукопись романа была предоставлена журналу «Новый мир». Обсуждался вопрос, где публиковать новые стихи. В «Знамени» вышла большая их подборка.

В Москву стали приезжать различные делегации из-за границы, они посещали писателей в Переделкине, заходили к Пастернаку. Рукопись романа «Доктор Живаго» была передана для ознакомления литературному агенту коммунистического издательства Фельтринелли в Милане.

КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ

Большое озеро как блюдо.
За ним — скопление облаков,
Нагроможденных белой грудой
Суровых горных ледников.

По мере смены освещенья
И лес меняет колорит.
То весь горит, то черной тенью
Насевшей копоты покрыт.

Когда в исходе дней дождливых
Меж туч проглянет синева,

Как небо празднично в прорывах,
Как торжества полна трава!

Стихает ветер, даль расчистив.
Разлито солнце по земле.
Просвечивает зелень листьев,
Как живопись в цветном стекле.

В церковной росписи оконниц
Так в вечность смотрят изнутри
В мерцающих венцах бессонниц
Святые, схимники, цари.

Как будто внутренность собора —
Простор земли, и чрез окно
Далекий отголосок хора
Мне слышать иногда дано.

Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья отстою.

1956

ПЕРЕМЕНА

Я льнул когда-то к беднякам
Не из возвышенного взгляда,
А потому что только там
Шла жизнь без помпы и парада.

Хотя я с барством был знаком
И с публикою деликатной,

Я дармоедству был врагом
И другом голи перекатной.

И я старался дружбу свести
С людьми из трудового звания,
За что и делали мне честь,
Меня считая тоже рванью.

Был осязателен без фраз,
Вещественен, телесен, весок
Уклад подвалов без прикрас
И чердаков без занавесок.

И я испортился с тех пор,
Как времени коснулась порча,
И горе возвели в позор,
Мещан и оптимистов корча.

Всем тем, кому я доверял,
Я с давних пор уже неверен.
Я человека потерял
С тех пор, как всеми он потерян.

1956

‡

Осенью 1956 года Пастернак получил от редакции «Нового мира» письменный отказ на печатание «Доктора Живаго». Как недавно стало известно, он был составлен по указаниям ЦК партии. Таким образом появившийся через год итальянский перевод романа стал первым изданием, что делало Фельтринелли собственником всемирных прав.

Отказ «Нового мира», остановивший публикацию «Доктора Живаго» на родине, по условиям времени, продолжал действовать в течение более чем тридцати лет. А тогда, в 1958—1959 годах, вслед за итальянским переводом роман вышел практически на всех языках мира.

Пастернак ясно понимал, что такое положение оборачивается для него серьезными угрозами, но это не могло победить радостное сознание, о котором он писал в 1957 году,

— «что по слепой игре судьбы мне посчастливилось высказаться полностью, и то самое, чем мы привыкли жертвовать и что есть самое лучшее в нас, художник оказался в моем случае незатертым и нерастоптанным».

Эта двойственность существования не нарушала налаженный ритм работы. Пополнялась новая книга стихов, при том, что тираж обещанного во время «оттепели» сборника был рассыпан.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Осень. Сказочный чертог,
 Всем открытый для обзора.
 Просеки лесных дорог,
 Заглядевшихся в озера.

Как на выставке картин:
 Залы, залы, залы, залы
 Вязов, ясеней, осин
 В позолоте небывалой.

Липы обруч золотой —
Как венец на новобрачной.
Лик березы — под фатой
Подвенечной и прозрачной.

Погребенная земля
Под листвой в канавах, ямах.
В желтых кленах флигеля,
Словно в золоченых рамах.

Где деревья в сентябре
На заре стоят попарно,
И закат на их коре
Оставляет след янтарный.

Где нельзя ступить в овраг,
Чтоб не стало всё известно:
Так бушует, что ни шаг,
Под ногами лист древесный.

Где звучит в конце аллей
Эхо у крутого спуска
И зари вишневый клей
Застывает в виде сгустка.

Осень. Древний уголок
Старых книг, одежд, оружия,
Где сокровищ каталог
Перелистывает стужа.

1956

НЕНАСТЬЕ

Дождь дороги заболотил.
Ветер режет их стекло.
Он платок срывает с ветел
И стрежет их наголо.

Листья шлепаются оземь.
Едут люди с похорон.
Потный трактор пашет озимь
В восемь дисковых борон.

Черной вспаханною зябью
Листья залетают в пруд
И по возмущенной ряби
Кораблями в ряд плывут.

Брызжет дождик через сито.
Крепнет холода напор.
Точно все стыдом покрыто,
Точно в осени — позор.

Точно срам и поруганье
В стаях листьев и ворон,
И дожде и урагане,
Хлещущих со всех сторон.

1956

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Снаружи вьюга мечется
И всё заносит в лоск.
Засыпана газетчица
И заметен киоск.

Из нашей долгой бытности
Казалось нам не раз,
Что снег идет из скрытности
И для отвода глаз.

Утайщик нераскаянный, —
Под белой бахромой
Как часто вас с окраины
Он разводил домой!

Все в белых хлопьях скроется,
Залепит снегом взор, —
На ошупь, как пропойца,
Проходит тень во двор.

Движения поспешные:
Наверное, опять
Кому-то что-то грешное
Приходится скрывать.

1956

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

Три месяца тому назад,
Лишь только первые метели
На наш незащищенный сад
С остервененьем налетели,
Прикинул тотчас я в уме,
Что я укроюсь, как затворник,
И что стихами о зиме
Пополню свой весенний сборник.

Но навалились пустяки
Горой, как снежные завалы.
Зима, расчетам вопреки,
Наполовину миновала.

Тогда я понял, почему
Она во время снегопада,
Снежинками пронзая тьму,
Заглядывала в дом из сада.

Она шептала мне: «Спеш!»
Губами, белыми от стужи,
А я чинил карандаши,
Отшучиваясь неуклюже.

Пока под лампой у стола
Я медлил зимним утром ранним,
Зима явилась и ушла
Непонятым напоминаньем.

1957

После издания «Доктора Живаго» Пастернак почувствовал, что не может жить только переживанием успеха, что вместе с романом ушел в прошлое огромный исторический период и перед ним «освобождается пространство, неиспользованность и чистоту которого надо сначала понять, а потом этим понятием наполнить».

* * *

«...О. В., Банникову и многим кажется, что мне надо писать сейчас стихотворения в моем последнем духе, прерванном болезнью. Я кое-что записал, но не

только не уверен, что они судят правильно, но убежден в обратном. Я думаю, несмотря на привычность всего того, что продолжает стоять перед нашими глазами и мы продолжаем слышать и читать, ничего этого больше нет, это уже прошло и состоялось, огромный, неслыханных сил стойивший период закончился и миновал. Освободилось безмерно большое, покамест пустое и не занятое место для нового и еще небывалого, для того, что будет угадано чьей-либо гениальной независимостью и свежестью, для того, что внушит и подскажет жизнь новых чисел и дней...»

*Борис Пастернак — Нине Табидзе.
Из письма 11 июня 1958*

* * *

Не подавая виду, без протеста,
Как бы совсем не трогая основ,
В столетии освободилось место
Для новых дел, для новых чувств и слов.

* * *

«...Надо набраться духу на большую новую прозу, надо будет написать нечто вроде статьи о месте искусства в жизнеустройстве века, может быть по-французски, для французского издания, в виде предисловия. А вместо того пробуждающаяся работа мысли начинается, как всегда, со стихов. Надо будет написать и их, на серьезные, на глубокие, важные темы. А кругом грязь, весна, пустые леса, одиноко чирикающие птички, и все это лезет в голову в пер-

вую очередь, отсрочивая более стоящие намерения, занимая понапрасну место и отнимая время. И мне нечего Вам послать, кроме прилагаемых двух, и Вы, как всегда, будете опять правы, что они с первого взгляда Вам не понравятся, так эти «птички» непростоительно банальны и слабы...»

*Борис Пастернак — Марине Баранович.
Из письма 2 мая 1958*

ЗА ПОВОРОТОМ

Насторожившись, начеку
У входа в чащу,
Щебечет птичка на суку
Легко, маняще.

Она щебечет и поет
В преддверьи бора,
Как бы оберегая вход
В лесные норы.

Под нею — сучья, бурелом,
Над нею — тучи,
В лесном овраге, за углом —
Ключи и кручи.

Нагроможденьем пней, колод
Лежит валежник.
В воде и холоде болот
Цветет подснежник.

А птичка верит, как в зарок,
В свои рулады
И не пускает на порог
Кого не надо.

За поворотом, в глубине
Лесного лога,
Готово будущее мне
Верней залога.

Его уже не втянешь в спор
И не заластишь.
Оно распахнуто, как бор,
Всё вглубь, всё настезь.

1958

ВСЕ СБЫЛОСЬ

Дороги превратились в кашу.
Я пробираюсь в стороне.
Я с глиной лед, как тесто, квашу,
Плетусь по жидкой размазне.

Крикливо пролетает сойка
Пустующим березняком.
Как неготовая постройка,
Он высится порожняком.

Я вижу сквозь его пролеты
Всю будущую жизнь насквозь.
Всё до мельчайшей доли сотой
В ней оправдалось и сбылось.

Я в лес вхожу, и мне не к спеху.
Пластами оседает наст.
Как птице, мне ответит эхо,
Мне целый мир дорогу даст.

Среди размокшего суглинка,
Где обнажился голый грунт,
Щебечет птичка под сурдинку
С пробелом в несколько секунд.

Как музыкальную шкатулку,
Ее подслушивает лес,
Подхватывает голос гулко
И долго ждет, чтоб звук исчез.

Тогда я слышу, как верст за пять,
У дальних землемерных вех
Хрустят шаги, с деревьем капит
И шлепается снег со стрех.

1958

Новая книга стала попыткой освоить надвигающееся будущее. В январе 1959 года Пастернак написал ее заключительные стихи. На обложке тетради был записан эпиграф из последнего тома прозы Марселя Пруста «Обретенное время». Он называет книгу старым кладбищем с полустертymi надписями забытых имен, что сближает эпиграф со стихотворением «Душа», посвященным загубленным судьбам людей. Та же тема звучит в первом отрывке «Вакханалии».

* * *

Город. Зимнее небо.
Тьма. Пролеты ворот.
У Бориса и Глеба
Свет и служба идет.

Лбы молящихся, ризы
И старух шушуны
Свечек пламенем снизу
Слабо озарены.

А на улице вьюга
Всё смешала в одно,
И пробиться друг к другу
Никому не дано.

В завываньи бурана
Потонули: тюрьма,
Экспаваторы, краны,
Новостройки, дома.

Ключья репертуара
На афишном столбе
И деревья бульвара
В серебристой резьбе.

И великой эпохи
След на каждом шагу —
В толчее, в суматохе,
В метках шин на снегу,
В ломке взглядов, — симптомах
Вековых перемен, —
В наших добрых знакомых,
В тучах мачт и антенн,
На фасадах, в костюмах,
В простоте без прикрас,
В разговорах и думах,
Умиляющих нас.

И в значеньи двояком
Жизни, бедной на взгляд,
Но великой под знаком
Понесенных утрат.

.....

1957

Картины и темы этой книги озарены светом и опытом пережитого, ощущением близкого конца и верности долгу. Эти темы наполняют символическим смыслом ее название, и мысли о смерти не противоречат устремленности в будущее, вызывая чувство радостного соприкосновения с вечностью. Книга получила название «Когда разгуляется» и в выборочном составе была издана только после смерти Пастернака.

ПАХОТА

Что случилось с местностью всегдашней?
С земли и неба стерта грань.
Как клетки шашечницы, пашни
Раскинулись, куда ни глянь.
Пробороненные просторы
Так гладко улеглись вдали,
Как будто выровняли горы
Или равнину подмели. ‘
И в те же дни единым духом
Деревья по краям борозд
Зазеленели первым пухом
И выпрямились во весь рост.

И ли соринки в новых кленах,
И в мире красок чище нет,
Чем цвет берез светло-зеленых
И светло-серых пашен цвет.

1958

ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Пронесшейся грозой полон воздух.
Всё ожило, все дышит, как в раю.
Всем роспуском кистей лиловогроздых
Сирень вбирает свежести струю.

Всё живо переменою погоды.
Дождь заливает кровель желоба,
Но всё светлее неба переходы
И высь за черной тучей голуба.

Рука художника еще всесильней
Со всех вещей смывает грязь и пыль.
Преображенной из его красильни
Выходят жизнь, действительность и быть.

Воспоминание о полувеке
Пронесшейся грозой уходит вспять.
Столетье вышло из его опеки.
Пора дорогу будущему дать.

Не потрясения и перевороты
Для новой жизни очищают путь,
А откровенья, бури и щедроты
Души воспламененной чьей-нибудь.

1958

ДОРОГА

То насыпью, то глубиою лога,
То по прямой за поворот
Змеится лентою дорога
Безостановочно вперед.

По всем законам перспективы
За придорожные поля
Бегут мощеные извивы,
Не слякотя и не пыля.

Вот путь перебежал плотину,
На пруд не посмотревши вбок,
Который выводок утиный
Переплывает поперек.

Вперед то по́д гору, то в гору
Бежит прямая магистраль,
Как разве только жизни впору
Всё время рваться вверх и вдаль.

Чрез тысячи фантасмагорий,
И местности и времена,
Через преграды и подспорья
Несется к цели и она.

А цель ее в гостях и дома —
Всё пережить и все пройти,
Как оживляют даль изломы
Мимоидущего пути.

1957

НОЧЬ

Идет без проволочек
И тает ночь, пока
Над спящим миром летчик
Уходит в облака.

Он потонул в тумане,
Исчез в его струе,
Став крестиком на ткани
И меткой на белье.

Под ним ночные бары,
Чужие города,
Казармы, кочегары,
Вокзалы, поезда.

Всем корпусом на тучу
Ложится тень крыла.
Блуждают, сбившись в кучу,
Небесные тела.

И страшным, страшным креном
К другим каким-нибудь
Неведомым вселенным
Повернут Млечный Путь.

В пространствах беспредельных
Горят материки.
В подвалах и котельных
Не спят истопники.

В Париже из-под крыши
Венера или Марс
Глядят, какой в афише
Объявлен новый фарс.

Кому-нибудь не спится
В прекрасном далеке
На крытом черепицей
Старинном чердаке.

Он смотрит на планету,
Как будто небосвод
Относится к предмету
Его ночных забот.

Не спи, не спи, работай,
Не прерывай труда,
Не спи, борись с дремотой,
Как летчик, как звезда.

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты — вечности заложник
У времени в плену.

1956

МУЗЫКА

Дом высился, как каланча.
По тесной лестнице угольной
Несли рояль два силача,
Как колокол на колокольню.

Они тащили вверх рояль
Над ширью городского моря,
Как с заповедями скрижаль
На каменное плоскогорье.

И вот в гостиной инструмент,
И город в свисте, шуме, гаме,
Как под водой на дне легенд,
Внизу остался под ногами.

Жилец шестого этажа
На землю посмотрел с балкона,
Как бы ее в руках держа
И ею властвуя законно.

Вернувшись внутрь, он заиграл
Не чью-нибудь чужую пьесу,
Но собственную мысль, хорал,
Гуденье мессы, шелест леса.

Раскат импровизаций нес
Ночь, пламя, гром пожарных бочек,
Бульвар под ливнем, стук колес,
Жизнь улиц, участь одиночек.

Так ночью, при свечах, взамен
Былой наивности нехитрой,
Свой сон записывал Шопен
На черной выпилке пюпитра.

Или, опередивши мир
На поколения четыре,
По крышам городских квартир
Грозой гремел полет валькирий.

Или консерваторский зал
При адском грохоте и треске
До слез Чайковский потрясал
Судьбой Паоло и Франчески.

1956

С 1946 года кандидатура Пастернака семь раз выдвигалась на Нобелевскую премию по литературе. В 1958 году, наконец, она была присуждена ему с формулировкой: «За выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и продолжение благородных традиций великой русской прозы». Разразившийся вслед за этим политический скандал напоминал по своим формам худшие явления сталинского прошлого.

* * *

«...Я думал, что радость моя по поводу присуждения мне Нобелевской премии не останется одинокой, что она коснется общества, часть которого я составляю. Мне кажется, что честь оказана не только мне, а литературе, к которой я принадлежу... Кое-что для нее, положив руку на сердце, я сделал. Как ни велики мои размолвки с временем, я не предполагал, что в такую минуту их будут решать топором. Что же, если Вам кажется это справедливым, я готов все перенести и принять... Но мне не хотелось бы, чтобы эту готовность представляли себе вызовом и дерзос-

тью. Наоборот, это долг смирения. Я верю в присутствие высших сил на земле и в жизни, и быть заносчивым и самонадеянным запрещает мне небо...»

*Борис Пастернак — Екатерине Фурцевой.
Из письма 24 октября 1958*

Ответивший первоначально Нобелевскому комитету благодарностью за присуждение награды, Пастернак после недели угроз и травли был вынужден отказаться от премии, его принудили подписать согласованные в ЦК печатные заявления. В этой ситуации большую роль сыграла Ольга Всеволодовна Ивинская, которая из страха за судьбу свою и Бориса Пастернака оказалась податливым орудием беззастенчивого шантажа и давления со стороны партийных чиновников. Недавние страдания, перенесенные ею в 1949—1953 годах, не позволяют ни в чем упрекать ее, запугивания повторным арестом заставляли ее слезами и истериками вынуждать Пастернака делать некоторые шаги в направлении компромисса, необходимость которого была скоро понята в ЦК. Испугавшись, что ей в Гослитиздате отказали в очередном переводе, она подтолкнула Пастернака на то, чтобы послать телеграмму в Стокгольм с отказом от премии. Одновременно им было послано извещение в ЦК, чтобы Ивинской вернули работу, потому что он отказался от премии. Она была одним из авторов официальных писем Пастернака в газеты, его подписи под которыми получены были ее усилиями. Ей казалось, что она спасает его таким образом, — нельзя забывать, что

Сталин умер всего пять лет тому назад, и страх, которым было охвачено общество, диктовал свои законы. Достаточно посмотреть газеты тех страшных дней, вспомнить писательские собрания с требованиями расстрела «предателя». Но для Пастернака самым тяжелым было сознание своего компромисса и отказа от премии. О. Ивинская вспоминала, как он говорил ей, что стыдится тех писем, которые она «заставила» его подписывать: «Сознайся, ведь мы из вежливости испугались!»

«...Очень тяжелое для меня время. Всего лучше было бы теперь умереть, но я сам, наверное, не наложу на себя рук...»

*Борис Пастернак — Марии Марковой.
Из письма 11 ноября 1958*

* * *

«...Темные дни и еще более темные вечера времен античности или Ветхого Завета, возбужденная чернь, пьяные крики, ругательства и проклятия на дорогах и возле кабака, которые доносились до меня во время вечерних прогулок; я не отвечал на эти крики и не шел в ту сторону, но и не поворачивал назад, а продолжал прогулку. Но меня все здесь знают, мне нечего бояться...»

*Борис Пастернак — Жаклин де Пруаяр.
Из письма 28 ноября 1958.
Перевод с французского*

ДУРНЫЕ ДНИ

Когда на последней неделе
Входил он в Иерусалим,
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за ним.

А дни все грозней и суровой,
Любовью не тронуть сердец.
Презрительно сдвинуты брови,
И вот послесловье, конец.

Свинцовою тяжестью всею
Легли на дворы небеса.
Искали улик фарисеи,
Юля перед ним, как лиса.

И темными силами храма
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой,
Как славили прежде, клянут.

Толпа на соседнем участке
Заглядывала из ворот,
Толклись в ожиданьи развязки
И тыкались взад и вперед.

И полз шепоток по соседству,
И слухи со многих сторон.
И бегство в Египет и детство
Уже вспоминались, как сон.

Припомнился скат величавый
В пустыне, и та крутизна,

С которой всемирной державой
Его соблазнял сатана.

И брачное пиршество в Кане,
И чуду дивящийся стол,
И море, которым в тумане
Он к лодке, как посуху, шел.

И сборище бедных в лачуге,
И спуск со свечою в подвал,
Где вдруг она гасла в испуге,
Когда воскрешенный вставал...

Ноябрь — декабрь 1949

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

Мерцаньем звезд далеких безразлично
Был поворот дороги озарен.
Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный Путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей-то сад, надел земельный.
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной».

Он отказался от противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,

От всемогущества и чудотворства,
И был теперь как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаща смерти миновала,
В поту кровавом он молил отца.

Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, осиленные дремой,
Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт.
Час Сына Человеческого пробил,
Он в руки грешников себя предаст».

И лишь сказал, неведомо откуда
Толпа рабов и скопище бродяг,
Огни, мечи и впереди — Иуда
С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам
И ухо одному из них отсек.
Но слышит: «Спор нельзя решать железом,
Вложи свой меч на место, человек.

Неужто тьмы крылатых легионов
Отец не снарядил бы мне сюда?

И, волоска тогда на мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты».

1948

С 1956 года возобновившаяся переписка с Европой постепенно приобретала все более широкий размах. Посылались книги, вырезки из газет, бандероли с подарками, возобновились знакомства с русскими эмигрантами. Порою на конверте стояло только: Переделкино под Москвой Пастернаку. Отлученный на десятилетия от читателя, Пастернак с радостью откликался на эти проявления симпатии и интереса.

«...бури и анафематствования местного происхождения ничто по сравнению с тем, что ко мне приходит и тянется со всего мира. Я утопаю в гру-

дах писем из-за границы. Говорил ли я Вам, что однажды наша перedelкинская сельская почтальонша принесла их мне целую сумку, пятьдесят четыре штуки сразу. И каждый день по двадцати. В какой-то большой доле это все же упоенье и радость, — душевное единенье века...»

*Борис Пастернак — Лидии Воскресенской.
Из письма 12 декабря 1958*

БОЖИЙ МИР

Тени вечера волоса тоньше
За деревьями тянутся вдоль.
На дороге лесной почтальонша
Мне протягивает бандероль.

По кошачьим следам и по лисьим,
По кошачьим и лисьим следам
Возвращаюсь я с пачкою писем
В дом, где волю я радости дам.

Горы, страны, границы, озера,
Перешейки и материки,
Обсужденья, отчеты, обзоры,
Дети, юноши и старики.

Досточтимые письма мужские!
Нет меж вами такого письма,
Где свидетельства мысли сухие
Не выказывали бы ума.

Драгоценные женские письма!
Я ведь тоже упал с облаков.



В Переделкине. 1958 г.

Присягаю вам ныне и присно:
Ваш я буду во веки веков.

Ну, а вы, собиратели марок!
За один мимолетный прием,
О, какой бы достался подарок
Вам на бедственном месте моем!

1959

Были остановлены все издания переводов, и Пастернак оставлен без какого-либо заработка. В письмах этого времени он писал, что чувствует себя, «как на луне или в четвертом измерении». С одной стороны — всемирная слава, с другой — одиозность его имени на родине, безденежье, неуверенность в завтрашнем дне и невозможность прокормить родных. Одновременно он получал сотни писем от людей, которые считали его богачом, с просьбой о помощи из тех средств, которыми он сам не имел возможности воспользоваться.

В январе 1959 года, на пороге своего семидесятилетия, Пастернак написал три последних стихотворения, одно из них посвящено «тем страшным дням».

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони.
Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно. ·
Путь отрезан отовсюду,
Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость,
Я, убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора,
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.

1959

Стихотворение имело еще две строфы, возникшие под впечатлением душевной размолвки с Ольгой Ивинской, потом в белой рукописи они были заклеены.

Все тесней кольцо облавы,
И другому я виной:
Нет руки со мною правой,
Друга сердца нет со мной!
А с такой петлей у горла
Я б хотел еще пока,
Чтобы слезы мне утерла
Правая моя рука.

Но размолвка, имевшая основанием желание Ивинской легализовать свои отношения с Пастернаком, по-видимому, имела продолжение и сказа-

лась в том извиняющемся тоне, который слышится в письмах Пастернака к Ивинской из Грузии. По требованию прокуратуры он вынужден был уехать на три недели из Москвы на время приезда английского премьер-министра Гарольда Макмиллана, чтобы избежать «нежелательных» встреч с иностранными журналистами.

Борис Пастернак — Ольге Ивинской

21 февраля 1959.

Олюша родная, пишу тебе на почте. Я подавлен всей идущей кругом жизнью, полетом, огромным количеством честных людей, живущих как надо, как требуется временем, и только я один подозрителен сам себе, и не собираюсь исправляться и буду чем дальше, тем все хуже. Я не знаю, удастся ли позвонить отсюда по телефону. Все так чисты и правы кругом, и первая — ты. И всех я огорчаю, и, как узнал перед отъездом, больше всего тебя.

Олюша, жизнь будет продолжаться, как она была раньше. По-другому я не могу и не сумею. Никто не относится плохо к тебе. Только что дочь Н.А. <Табидзе> обвиняла меня в том, что, беря на себя такой риск, я потом ухажу от ответственности, сваливая ее на твои плечи. Что это ниже меня и неблагородно.

Крепко обнимаю тебя. Как удивительна жизнь. Как надо любить и думать. Не надо думать ни о чем другом.

Твой Б.

22 февраля 1959.

Дорогая Олюша, безделье, оторванность от привычек делового дня дают себя чувствовать. Н.А. отдала в мое распоряжение свою собственную комнату, а сама с Зиной помещаются в комнате внука, которого лишили своего угла. Кругом удивительные, полные самопожертвования люди. Я писал тебе с почты вчера. О тебе несколько слов вскользь и тайком, с симпатией к тебе, сказала Ливанова в аэропорте, где она нас провожала. Я хочу эти две недели употребить на то, чтобы наконец докончить Пруста, которого я почитаваю понемногу.

Попробую позвонить тебе сегодня (в воскресенье 22) по телефону с почты. Мне начинает казаться, что, помимо романа, премии, статей, тревог и скандалов, по какой-то еще другой моей вине жизнь последнего времени превращена в бред и этого могло бы не быть. Наверное действительно надо будет сжаться, успокоиться и писать впрок, как говорил тебе Д.А. <Поликарпов>¹. Я вчера впервые ясно понял (меня упрекнули в этом), что, вмешивая тебя в эти страшные истории, я набрасываю на тебя большую тень и подвергаю страшной опасности. Это не по-мужски и подло. Надо будет постараться, чтобы этого больше не было, чтобы постепенно к тебе отошло только одно легкое, радостное и хорошее. Я люблю тебя и крепко целую. В предположении, что ты в Ленингра-

¹ Заведующий Отделом культуры ЦК КПСС, который через О.В. Ивинскую вызывал Пастернака к себе для разговоров.

де (хотя я бы этого не хотел), прошу тебя поклониться Зин. Ивановне и Фед. Петровичу¹. Обнимаю тебя. Прости меня.

24 февраля 1959.

...За мое короткое отсутствие наверное накопятся горы дорогих мне писем, часть которых будет нуждаться в ответе. То привычное и знакомое, что составляло мою жизнь и доставляло мне радость, будет, если позволит Бог, продолжаться, но кое-чем этот обиход изменится. Надо будет упорядочить денежное хозяйство, твое и наше, и попробовать действительно, как говорил тебе Д.А. (я уже об этом писал), жить неторопливо, мыслью о будущем, более далеком.

Я ужасно, как всегда, люблю тебя и уверен, что ты этого не чувствуешь, считаешь недоказанным и не замечаешь. Что касается меня, то если бы можно было *надеяться, что все останется, как было* до наших последних объяснений, я был бы на верху блаженства. Фантазировать сверх этого немислимо и неисполнимо. Мне мерещится что-то очень хорошее впереди, неопределимое и незаслуженное, часть которого я сейчас предвосхищаю, мысленно крепко обнимая и целуя тебя.

26 февраля 1959.

Олюша дорогая моя, моя золотая, родная Олюша! Как я по тебе соскучился! Как грустно мне

¹ Родственники Ивинской.

вообще по утрам той знакомою беспричинною грустью, которую я так хорошо знаю с детства! Струя свежего чистого воздуха, пахнущего весною, чирикающие птиц за окном, голоса детей, и эта щемящая грусть уже налицо. Отчего она? Что-то нужно понять, что-то сделать. — Как странно, положение мое никогда не было так спорно и ненадежно, будущее никогда не было так неясно. И почему-то никогда не был я так ясен и спокоен, точно ты и все мы, и наши дома, и дети, и работы и здоровье — обеспечены и им ничего не грозит, точно впереди ждет меня что-то очень хорошее. Никогда забота о доведении до конца каких-то мыслей, желание попасть домой и сосредоточиться не были так велики и не казались таким главным, никогда вера в то, что ничего не помешает удовлетворению этой потребности, не была так тверда.

Олюша любушка, золотая моя и мой ангел, я пишу тебе такие бессмысленные послания, прости меня. Мне нечего тебе рассказать. Что я тут делаю? Главным образом — скрываюсь. Эти прятки наполнены чтением Пруста, пешими прогулками, чтобы не отсидеть ноги, едою, сном. Н.А. окружает заботою каждый мой шаг, свинство этим пользоваться, я ни от кого и ни у кого, менее всего у нее, это заслужил. Здесь нигде нет врагов тебе. Больше мы с нею ни о чем не говорили. Но мне кажется, многие без всякого основания любят меня и, любя меня, любят тебя. Эта атмосфера молчаливого допущения и согласия исходит даже от Зины.

Обнимаю тебя крепко, крепко. Не могу дождаться, чтобы перерыв этой животной праздности окон-

чился поскорее, и мы вернулись. Как было бы хорошо, если бы ты была в Москве и Ирочке¹ не приходилось пересылать писем.

2 марта 1959.

...Я приехал сейчас не восхищаться, не вдохновляться, не произносить речи и пировать. Я приехал молчать и скрываться, провожаемый общественным проклятием и покрытый такими же справедливыми упреками с твоей стороны, и в таком настроении, пришибленном и грустном, всего лучше сидеть и помногу заниматься чем-нибудь неподвижным и нетрудным. Я дочитываю бесконечного Пруста, кончить которого я себе поставил целью, уезжая. — И, как всегда, очень грустно по утрам, по пробуждении. Отчего это? Оттого, что часто ты, наверное, снишься мне, не оставляя следа о сновидении в памяти, и очень часто снишься с ясным запоминанием. Я уже несколько раз писал тебе об этом чувстве. И, наверное, еще оттого, что наши последние разговоры в городе произвели на меня тяжелое впечатление. Ты была, мне кажется, не права. Я ничем не виноват перед тобой или, лучше сказать, виноват перед всеми, перед временем, перед близкими, но меньше всего — перед тобой. Даже если опасения твои насчет себя самой были бы основательны, — ну что же, это было бы ужасно, но никакая опасность, нависшая над тобой, не зависела бы от того, что так или иначе сложилась моя жизнь, и не мое постоянное присутствие

¹ И.И. Емельянова — дочь Ольги Ивинской.

могло бы эту опасность отвести. Нити более тонкие, связи более высокие и могучие, чем тесное существование вдвоем на глазах у всех, соединяют нас, и это хорошо всем известно. Моя жизнь с тобой протекает совсем не в той области, в которую ты перенесла в последнее время свои требования и обвинения, но в области, которая вся целиком так посвящена самому высокому и светлому, что никакие несчастья не могут ее уничтожить и обесценить, потому что она сама побеждает все препятствия и несчастья.

Мне нельзя менять своей жизни не только из-за боязни причинить страдание окружающим, но из-за боязни неестественности, которую принесла бы с собой эта ненужная и резкая перемена. Мое и твоё положение в нынешнем привычном мире и без того полно игры с огнем и дерзкого вызова. Потяни за ниточку, и поползет и уничтожится вся ткань...

Летом 1959 года Пастернак начал писать драму, посвященную России времени великих реформ, в котором видел зарождение того нигилизма, которое стало причиной трагических событий нашего века. Главным героем должен был быть крепостной актер и драматург, сюжет строился вокруг судьбы таланта при крепостном праве, горькую тяжесть которого он сам ежедневно переживал. Свое семидесятилетие он отмечал в кругу семьи, письма со всего мира и поздравительные телеграммы приходили нескончаемым потоком. Он продолжал вдохновенно работать над драмой, которая получила название «Слепая красавица».

* * *

«...Вероятнее всего через много лет после того, как я умру, выяснится, какими широкими, широчайшими основаниями направлялась моя деятельность последних лет, чем она дышала и питалась, чему служила...»

*Борис Пастернак — Гарегину Бебутову.
Из письма 24 мая 1958*

* * *

«...Какие-то благодатные силы вплотную придвинули меня к тому миру, где нет ни кружков, ни верности юношеским воспоминаниям, ни юбочных точек зрения, к миру спокойной непредвзятой действительности, к тому миру, где, наконец, впервые тебя взвешивают и подвергают испытанию, почти как на страшном суде, судят и измеряют и отбрасывают или сохраняют; к миру, ко вступлению в который художник готовится всю жизнь и в котором рождается только после смерти, к миру посмертного существования выраженных тобою сил и представлений...»

*Борис Пастернак — Чукуртме Гудиашили.
Из письма 5 февраля 1960*

С начала 1960 года стали появляться постепенно нарастающие признаки тяжелого заболевания. Преодолевая боли в спине, Пастернак переписал первые сцены пьесы. С середины апреля наступило резкое ухудшение. Отчетливо сознавая близкий конец, он вынужден был оставить ра-

боту неоконченной и в последних числах апреля позволил себе лечь в постель. 30 мая 1960 года его не стало.

* * *

«...Смерти нет. Смерть не по нашей части. А вот вы сказали: талант, это другое дело, это наше, это открыто нам. А талант — в высшем широчайшем понятии есть дар жизни.

Смерти не будет, говорит Иоанн Богослов, и вы послушайте простоту его аргументации. Смерти не будет, потому что прежнее прошло. Это почти как: смерти не будет, потому что это уже видали, это старо и надоело, а теперь требуется новое, а новое есть жизнь вечная...»

*Борис Пастернак.
Из романа «Доктор Живаго»*

* * *

«...Пастернак давно перестал быть для меня только поэтом. Он был совестью моего поколения, наследником Льва Толстого. Русская интеллигенция искала у него решения всех вопросов времени, гордилась его нравственной твердостью, его творческой силой. Я всегда считал, считаю и сейчас, что в жизни должны быть такие люди, живые люди, наши современники, которым мы могли бы верить, чей нравственный авторитет был бы безграничен. И это обязательно должны быть наши соседи. Тогда нам легче жить, легче сохранять веру в человека...»

*Варлам Шаламов.
Из воспоминаний*

АВГУСТ

Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановую
От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую
И край стены за книжной полкой.

Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой.

Вы шли толпою, врозь и парами.
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная как знаменье,
К себе приковывает взоры.

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,
Нагой, трепещущий ольшаник
В имбирно-красный лес кладбищенский,
Горевший, как печатный пряник.

С притихшими его вершинами
Сосеждествовало небо важно,

И голосами петушиными
Перекликалась даль протяжно.

В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту.

Был всеми ошутим физически
Спокойный голос чей-то рядом.
То прежний голос мой провидческий
Звучал, нетронутый распадом:

«Прощай, лазурь преображенная
И золото второго Спаса,
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.

Прощайте, годы безвременщины!
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я — поле твоего сраженья.

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство».

1953





ХРОНИКА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА БОРИСА ЛЕОНИДОВИЧА ПАСТЕРНАКА

- 1890** *29 января* по старому стилю (10 февраля) родился Борис Пастернак в Москве в доме Веденеева у Старых Триумфальных ворот. Его родители: художник Леонид Осипович Пастернак и пианистка Розалия Исидоровна, в девичестве Кауфман.
- 1894** *Август* — переезд на казенную квартиру при Училище живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой улице.
- 1897** Сентябрь — начало занятий грамотой, арифметикой и французским с писательницей и переводчицей Е. И. Баратынской.
- 1900** *17 мая* случайная встреча с Р. М. Рильке и его спутницей на Курском вокзале.
- 1901** *Август* — поступление во второй класс Пятой Московской гимназии.
- 1903** *Лето* — знакомство с композитором А. Н. Скрябиным на даче в Оболенском под Москвой.

6 августа — падение с лошади, перелом бедра.

Осенью — начало занятий музыкальной композицией с теоретиком музыки Ю.Д. Энгелем.

1904 *Декабрь* — поездка в Петербург.

1905 *Октябрь* — начало всеобщей политической забастовки. Прекращение занятий в учебных заведениях. *Декабрь* — отъезд семьи в Берлин.

1906 *Август* — возвращение в Москву. Занятия с преподавателем консерватории Р. М. Глиэром. Музыкальные сочинения, сохранились две прелюдии.

1907 *Лето* — в Райках под Щелковым. Письма родителям.

1908 *Июнь* — окончание гимназии с золотой медалью.

Август — поступление в Московский университет на юридический факультет. Сочинение сонаты для фортепиано, последнее музыкальное произведение.

1909 *Март* — встреча со Скрябиным, вернувшимся из-за границы.

Май — переход на философское отделение историко-филологического факультета.

Декабрь — литературный кружок артистической молодежи «Сердарда».

- 1910** *Февраль* — первые сохранившиеся наброски стихов и прозы.
9 ноября — поездка с отцом в Астапово на похороны Льва Толстого.
- 1911** *Август* — переезд семьи на Волхонку.
- 1912** *Апрель* — *август* — летний семестр в Марбургском университете.
Июнь — объяснение с Идой Высоцкой.
Август — двухнедельная поездка в Италию.
- 1913** *Февраль* — доклад «Символизм и бессмертие» в кружке при издательстве «Мусагет».
Апрель — выход альманаха «Лирика» с первой публикацией пяти стихотворений.
Май — окончание университета с дипломом кандидата философии.
Лето — работа над первой книгой стихотворений «Близнец в тучах».
Август — снимает комнату в Лебяжьем переулке.
7 декабря — вечер Эмиля Верхарна в обществе «Свободной эстетики».
20 декабря — выход книги «Близнец в тучах» в издательстве «Лирика».
- 1914** *Январь* — выход из группы «Лирика», образование футуристического издательства «Центрифуга».

Апрель — публикация статьи и трех стихотворений в первом сборнике «Центрифуги».
Май — знакомство с В. Маяковским.

Июнь — отъезд в Петровское на Оке домашним учителем сына Ю. К. Балтрушайтиса. Перевод комедии Г. Клейста «Разбитый кувшин».

20 ноября — антивоенные стихи в приложении к газете «Новь» «Траурное ура».

1915

Январь — работа над повестью «Апеллесова черта».

Март — работает домашним учителем и живет в доме коммерсанта М. Филиппа на Пречистенке.

Май — выход журнала «Современник» с переводом комедии Клейста «Разбитый кувшин».

Июль — поездка под Харьков к сестрам Синяковым.

Август — первое чтение стихов Анны Ахматовой «Вечер».

Октябрь — поездка в Петроград.

1916

Январь — отъезд на Урал во Всеволодо-Вильву. Работает конторщиком химических заводов.

Апрель — публикация статьи и стихов во втором сборнике «Центрифуги».

Июнь — возвращение в Москву. Подготовка второй книги стихов «Поверх барьеров».

Октябрь — отъезд в Тихие Горы на Каму.

Декабрь — выход книги «Поверх барьеров».

1917

Март — возвращение в Москву.

Июль — поездка в Романовку к Елене Виноград.

Сентябрь — поездка в Балашов. Пишет стихотворения для книги «Сестра моя — жизнь».
Октябрь — начало работы над романом о Жене Люверс, отделанное начало которого стало повестью «Детство Люверс».

- 1918** *Апрель* — работа над повестью «Письма из Тулы».
 Апрель — *июль* — работает в Наркомпросе.
 Июль — *август* — пишет цикл стихов «Тема с вариациями». Работает над переводом драм Г. Клейста для издательства «Всемирная литература».

Декабрь — написана статья «Несколько положений».

- 1919** *Январь* — *февраль* — цикл стихов «Болезнь».
 Март — цикл «Разрыв».
 Лето — перевод «Тайн» Гёте.

- 1920** *Весной* — переводы из Ганса Сакса.
 Июль — *август* — поездка в Касимов.
 Август — *ноябрь* — работает в газете «Гудок».

- 1921** 5 мая — слушает Александра Блока в Политехническом музее. Знакомство с Блоком.
 Летом — знакомство с художницей Е. В. Лурье.
 Сентябрь — отъезд родителей в Германию.

- 1922** *Январь* — поездка в Петроград к Е. Лурье. Знакомство с Анной Ахматовой и Осипом Мандельштамом.
 Февраль — женитьба на Е. Лурье.

Май — публикация повести «Детство Люверс» в альманахе «Наши дни». Выход в свет книги «Сестра моя — жизнь» в издательстве Гржебина.

Июнь — первое чтение стихов Марины Цветаевой «Версты». Начало переписки с Цветаевой.

Август — отплытие из Петрограда в Штеттин, затем в Берлин.

1923

Январь — выход книги «Темы и вариации» в издательстве «Геликон». Второе издание «Сестры моей — жизни» в Берлине у Гржебина.

Март — возвращение в Москву.

23 сентября — рождение сына Евгения.

Ноябрь — пишет поэму «Высокая болезнь».

17 декабря — выступление на юбилее Валерия Брюсова.

1924

Февраль — написана повесть «Воздушные пути».

Май — июль — письма к жене в Тайцы.

Июль — сентябрь — поездка в Тайцы и Петроград. Встречи с Ахматовой и Мандельштамом.

Август — публикация повести «Воздушные пути» в журнале «Русский современник» (в сокращенном цензурой виде).

Сентябрь — декабрь — работает в библиотеке Наркоминдела по составлению библиографии о Ленине.

1925

Январь — март — работает над «Спекторским».

Июль — начало работы над поэмой «1905 год».

- 1926** *Март* — чтение «Поэмы конца» М. Цветаевой. Известие от отца о письме Рильке.
12 апреля — пишет письмо Рильке. Начало работы над поэмой «Лейтенант Шмидт».
Июнь — октябрь — поездка жены с сыном в Германию.
- 1927** *Летом* — в деревне Мутовки около Хотькова.
Октябрь — поездка в Ленинград. Начало работы над «Охранной грамотой».
- 1928** *Весной* — продолжение «Спекторского».
Летом — готовит ранние стихи к переизданию.
Июль — сентябрь — поездка в Геленджик к жене и сыну.
- 1929** *Январь — май* — пишет «Повесть», цикл стихотворных посланий.
Октябрь — заканчивает первую редакцию «Спекторского». Выходит сборник «Поверх барьеров. Стихи разных лет» в ГИХЛ.
- 1930** *14 апреля* — самоубийство Маяковского.
Май — получает отказ в разрешении на поездку в Германию.
Июнь — сентябрь — поездка в Ирпень под Киевом. Окончание работы над «Спекторским».
Декабрь — уходит от семьи, живет у В. Ф. Асмуса.
- 1931** *Январь* — окончание работы над «Охранной грамотой».
Февраль — апрель — живет у Б. Пильняка.

Апрель — пишет лирический цикл «Второго рождения».

Май — декабрь — отъезд жены с сыном в Германию на лечение от туберкулеза.

18 мая — едет в Киев к З. Н. Нейгауз.

29 мая — 7 июня — поездка с писательской бригадой на Урал.

Июль — октябрь — поездка в Киев и на Кавказ с З. Н. Нейгауз.

Июль — выход отдельной книжкой «Спекторского».

Ноябрь — выход «Охранной грамоты».

1932

Январь — май — живет у брата Александра. Критические статьи по поводу «Охранной грамоты».

Февраль — запрещение издания собрания сочинений.

Март — обсуждение «Второго рождения» в ФОСП. Критика со стороны РАПП.

Май — получение квартиры на Тверском бульваре.

Июль — август — поездка с З. Н. Нейгауз и ее сыновьями в Свердловск. Раскулаченные, голод.

Август — выход книги «Второе рождение».

Октябрь — поездка в Ленинград, авторский вечер в Капелле.

1933

Февраль — запрещение переиздания «Охранной грамоты».

Апрель — выходят «Стихотворения в одном томе» в Издательстве писателей в Ленинграде.

14—19 ноября — поездка в Грузию в составе писательской делегации.

- 1934** 8 — 10 января — смерть и похороны Андрея Белого.
16 мая — арест Осипа Мандельштама. Обращение о заступничестве к Бухарину.
Июнь — телефонный звонок Сталина.
Июль — август — поездка в Одоев под Тулой с семьей.
15 — 29 августа — участие в съезде писателей.
Сентябрь — снова в Одоеве.
- 1935** 9 февраля — вечер грузинской поэзии в Ленинграде.

Апрель — июнь — в санатории.
21 июня — 17 июля — поездка в Париж на антифашистский Конгресс и возвращение через Лондон в Ленинград.
Июль — сентябрь — в санатории Болшево.
27 октября — арест Н. Н. Пунина и Л. Н. Гумилева. Приезд А. Ахматовой, письмо к Сталину.
3 ноября — освобождение арестованных.
- 1936** Февраль — поездка в Минск на Пленум правления Союза писателей.
Март — участие в дискуссии о формализме.
Июнь — приобретение дачи в Переделкине.
- 1937** Январь — процесс над Пятаковым, Радеком и др., показания на Н. Бухарина. Сочувственное письмо Пастернака Бухарину.
Февраль — обвинения в адрес Пастернака на Пушкинском пленуме Союза писателей и его ответное выступление.

11 июня — отказ дать подпись под требованием расстрела военных (Тухачевского, Якира и др.).

22 июля — самоубийство Паоло Яшвили.

10 сентября — арест Тициана Табидзе.

23 октября — арест Бориса Пильняка.

Декабрь — переезд на новую квартиру в Лаврушинском переулке.

1938

1 января — рождение сына Леонида.

Март — процесс над Бухариным, расстрел.

1939

Январь — начало работы над переводом «Гамлета» Шекспира.

18 июня — возвращение М. Цветаевой из эмиграции.

20 июня — арест В. Э. Мейерхольда.

15 июля — убийство его жены З. Н. Райх.

23 августа — смерть матери, Р. И. Пастернак, в Лондоне.

27 августа — арест дочери М. Цветаевой А. Эфрон.

10 октября — арест С. Я. Эфрона.

1940

14 апреля — чтение перевода «Гамлета» в Доме писателей.

Июнь — публикация «Гамлета» в журнале «Молодая гвардия».

25 — 30 августа — приезд А. Ахматовой в Переделкино.

1941

Апрель — пишет стихотворный цикл «Переделкино».

9 июля — эвакуация З. Н. Пастернак с детьми.

8 августа — провожает М. Цветаеву в эвакуацию.

10 сентября — узнает о самоубийстве Цветаевой.

14 октября — эвакуирован в Чистополь к семье.

1942

Февраль — оканчивает перевод «Ромео и Джульетты».

Май — сентябрь — пишет пьесу «Этот свет».

2 октября — приезжает в Москву. Сдаёт в печать книгу «На ранних поездах».

23 октября — чтение «Ромео и Джульетты» в Доме актера.

15 декабря — чтение стихов из книги «На ранних поездах» в Доме писателей.

26 декабря — возвращается через Казань в Чистополь.

1943

Январь — февраль — переводит «Антония и Клеопатру».

Июнь — выход книги «На ранних поездах».

25 июня — возвращается с семьей из эвакуации.

8 июля — чтение «Антония и Клеопатры» в Доме актера.

Август — пишет рецензию на книгу избранных стихотворений Анны Ахматовой (в печать не была принята).

27 августа — 13 сентября — поездка на фронт.

25 — 26 декабря — пишет стихотворение «Памяти Марины Цветаевой».

1944

Январь — май — пишет цикл военных стихов, публикации в газетах («Красная звезда», «Красный флот», «Литература и искусство», «Правда»).

Март — авторский вечер в клубе Московского университета.

Август — сентябрь — перевод «Отелло».

1945

Январь — перевод «Генриха IV» (часть 1-я).

Февраль — выходит сборник «Земной простор».

29 апреля — смерть Адриана Нейгауза (1925 — 1945).

28 мая — авторский вечер в Доме ученых.

31 мая — смерть отца, Л.О. Пастернака, в Оксфорде.

Август — перевод 2-й части «Генриха IV».

Сентябрь — перевод стихотворений Н. Бараташвили.

19 октября — участвует в юбилейных торжествах Н. Бараташвили в Тбилиси.

Ноябрь — начало работы над романом «Доктор Живаго». Встречи с Исайей Берлином, английским дипломатом и философом.

Декабрь — выход книги «Избранные стихотворения и поэмы» (последнее прижизненное издание).

1946

2 и 3 апреля — совместные с А. Ахматовой вечера чтения в Доме писателей и Колонном зале.

27 мая — авторский вечер в Политехническом музее.

14 августа — постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград».

4 сентября — выступление А. Фадеева в Союзе писателей с критикой Пастернака.

9 сентября — чтение первых глав романа «Доктор Живаго» на даче в Переделкине.
Октябрь — знакомство с О. В. Ивинской.

- 1947 6 февраля — чтение первых глав романа у М. В. Юдиной.
21 марта — резкая статья А. Суркова «О поэзии Пастернака» в газете «Культура и жизнь».
Апрель — май — чтение первых глав в знакомых домах.
Июнь — переводит лирику Ш. Петефи. — 2500 строк.
Июль — август — перевод «Короля Лира».

- 1948 23 февраля — авторский вечер в Политехническом музее.

Апрель — уничтожен тираж книги Пастернака «Избранное».
Июнь — чтение написанных глав романа А. Ахматовой. Выхлопотал Ахматовой переводную работу.
Август — начало работы над переводом 1-й части «Фауста».

- 1949 Февраль — кончает перевод 1-й части «Фауста».
Весна — расставание с О. Ивинской.
9 октября — арест Ивинской.
Ноябрь — декабрь — написан цикл стихотворений к роману.

- 1950 Июнь — перевод «Макбета».
Декабрь — начат перевод 2-й части «Фауста».

- 1951** *Август* — окончание работы над «Фаустом».
- 1952** *2 июня* — чтение очередных глав из романа у себя дома.
20 октября — с инфарктом миокарда отвезен в больницу.
29 декабря — в больнице его навещает А. Ахматова.
- 1953** *6 января* — вернулся домой из больницы.
4 февраля — 20 марта — в санатории Болшево.
Лето — переработка перевода «Фауста» в корректуру.
Июль — август — написан цикл стихов к роману.
Октябрь — возвращение О. В. Ивинской из лагеря.
13 ноября — встреча с В. Шаламовым, вернувшимся с Колымы.
- 1954** *Апрель* — публикация в «Знамени» 10 стихотворений из романа «Доктор Живаго».
16 апреля — обсуждение «Фауста» в Союзе писателей.
- 1955** *Март* — окончена беловая рукопись последних глав романа.

Август — сентябрь — перевод «Марии Стюарт» Шиллера.
Октябрь — ноябрь — последняя правка текста романа по машинописи.
- 1956** *Январь* — машинопись романа «Доктора Живаго» передана в журнал «Новый мир».

Февраль — начало подготовки стихотворного сборника.

Весна — пишет вступительный очерк «Люди и положения».

30 июня — подписан договор на издание итальянского перевода «Доктора Живаго» с миланским издательством.

Сентябрь — публикация в «Знамени» 8 стихотворений из нового цикла («Когда разгуляется»). Получен отказ из «Нового мира» на публикацию романа.

Октябрь — отказался дать подпись под осуждением восстания в Венгрии.

1957

7 января — подписан договор на издание романа «Доктор Живаго» в Гослитиздате.

Февраль — послано письмо в Милан с просьбой задержать издание на полгода, до выхода романа в Москве. Написаны новые стихи для сборника, печатание которого задерживается.

12 марта — внезапное заболевание, отвезен в больницу.

Июнь — июль — в санатории Узкое.

Август — отрывки из «Доктора Живаго» опубликованы в Польше, в журнале «Опиние».

19 августа — вызов в ЦК КПСС.

26 августа — заседание секретариата правления Союза писателей. Вынужденные письма иностранным издателям с требованием вернуть рукопись романа.

Октябрь — поездка А. Суркова в Милан для переговоров.

22 ноября — «Доктор Живаго» вышел в Милане по-итальянски.

1958

Февраль — апрель — снова в больнице.

Май — июль — написаны новые стихи.

Июнь — август — появление изданий «Доктора Живаго» во Франции, Англии, Америке и Германии.

Октябрь — переводит «Марию Стюарт» Ю. Словацкого.

23 октября — присуждение Нобелевской премии по литературе. Посылает благодарственную телеграмму.

25 — 26 октября — статьи в «Литературной газете» и «Правде».

27 октября — исключение из Союза писателей. Отказ присутствовать на заседании президиума правления СП, посылает письмо.

29 октября — телеграмма в Стокгольм с отказом от премии.

31 октября — собрание московских писателей обращается в правительство с просьбой лишить Пастернака советского гражданства.

1—5 ноября — публикация вынужденных писем Пастернака Хрущеву и в «Правду».

1959

Январь — написаны последние стихотворения.

11 февраля — публикация стихотворения «Нобелевская премия» в «Daily Mail».

20 февраля — 12 марта — вынужденный отъезд в Грузию в связи с визитом в Москву премьер-министра Англии. Письма к О. В. Ивинской.

14 марта — вызов к ген. прокурору. Обвинение в государственной измене.

Июнь — июль — пишет первые сцены пьесы «Слепая красавица».

Октябрь — перевод «Стойкого принца» Кальдерона.

1960

10 февраля — 70-летие. Письма и поздравления со всего мира.

25 апреля — последняя болезнь.

26 мая — рентген показал рак легкого с метастазами.

30 мая — в 11 часов 30 минут вечера скончался.

1 июня — отпевание дома в Переделкине.

2 июня — похороны на Переделкинском кладбище.





СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТЬ НАШИХ ОТЦОВ...

« Не как люди, не еженедельно...»	11
« В детстве, я как сейчас еще помню...»	15
« Я рос. Меня, как Ганимеда...»	17

О ДЕТСТВО! КОВШ ДУШЕВНОЙ ГЛУБИ!..

« Придается всё...»	25
« Илистых плавней желтый янтарь...»	27
« Мне четырнадцать лет...»	29
Жизнь	30
« И спящий Петербург огромен...»	33

Я ЖИЛ В ТЕ ДНИ, КОГДА НА ПЛОСКОЙ...

« Февраль. Достать чернил и плакать!..»	41
« Сегодня мы исполним грусть его...»	42
Пиры	43
Сон	44
Вокзал	45
Марбург	49
Зимняя ночь	54
« Когда за лиры лабиринт...»	56

Зима.	57
«Встав из грохочущего ромба...»	58
Метель	59
Весна ;	62
Дурной сон	65
Петербург	69
Урал впервые	72
Ледоход	77
На пароходе	78
«С тех пор стал над недрами парка сдвигаться...»	81
«Потели стекла двери на балкон...»	81
Зимнее небо	83
Душа	84
Раскованный голос	84
«Я понял жизни цель и чту...»	85
Стрижи.	86
После дождя	86
Импровизация	87
Из поэмы (<i>Отрывок</i>)	88

КАЗАЛОСЬ АЛЬФОЙ И ОМЕГОЙ...

Из суеверья	93
Воробьевы горы	95
Весенний дождь	96
Плачущий сад	97
Девочка	98

«Ты в ветре, веткой пробуящем...»	99
«Душистою веткою машучи...»	99
Заместительница	100
Степь	101
Душная ночь	103
Еще более душный рассвет	104
«Дик прием был, дик приход...»	105
«Попытка душу разлучить...»	107
Сложь весла	109
Не трогать	110
«Ты так играла эту роль!...»	110
Как у них	111
«Сестра моя — жизнь...»	112
Балашов	113
«Весна была просто тобой...»	114
«Давай ронять слова...»	115
Послесловье	117
«Здесь прошелся загадки таинственный ноготь...»	118
«Густая слякоть клейковиной...»	120
Вдохновение	122
«Мутится мозг...»	124
Русская революция	125
«Весна, я с улицы, где тополь удивлен...»	128
Маргарита	128
«Мне в сумерки ты всё — пансионеркою...»	129

Кремль в буран конца 1918 года	131
Январь 1919 года	132
Разрыв	133
«Сейчас мы руки углем замараем...»	137
Шекспир	139
Маяковскому	142
Ветер (<i>Отрывки о Блоке</i>)	144
«О как она была смела...»	148
Отплытие	149
Морской штиль	151
Перелет	152
«Где грудь, где руки...»	154
Бабочка-буря	154
«Нас мало...»	158

Я БЕДСТВОВАЛ. У НАС РОДИЛСЯ СЫН...

«Привыкши выковыривать изюм...»	168
«Но я не ведал, что проистечет...»	171

М. Цветаева

«Рас-стояние: версты, мили...»	175
«Русской ржи от меня поклон...»	176
«Не оперные поселяне...»	179
«Мельканье рук и ног, и вслед ему...»	180
Анне Ахматовой	184
А. Ахматова. Борис Пастернак	187
Марине Цветаевой	188

<i>М. Цветаева. «Тоска по родине!...»</i>	189
Вместо стихотворения (<i>Акростих</i>)	191
Мейерхольдам.	192
Брюсову	195
Борису Пильняку	197
«Рослый стрелок, осторожный охотник...»	198
Смерть поэта.	199
Лето.	205
«Красавица моя, вся статья...»	208
«Любимая, — молвы слащавой...»	211
«Годами когда-нибудь в зале концертной...»	217
«Любить иных — тяжелый крест...»	218
«Никого не будет в доме...»	219
«Я видел, чем Тифлис...»	221
«Пока мы по Кавказу лазаем...»	221
«О, знал бы я, что так бывает...»	223
«Столетье с лишним — не вчера...»	224
«Есть в опыте больших поэтов...»	225

СТРАНИЦЫ ВЕКА ГРОМЧЕ...

«За прошлого порог...»	229
«Еловый бурелом...»	231
«Немолчный плеск солей...»	233
Художник.	239
«Все наклоненья и залогии...»	241
Летний день	251

Сосны.	254
Ложная тревога.	257
Иней	258
На ранних поездах	259
Опять весна	262

ЖИТЬ И СГОРАТЬ У ВСЕХ В ОБЫЧАЕ...

Бобыль.	267
Зима приближается	269
Памяти Марины Цветаевой	271
«Мне так же трудно до сих пор...»	272
Старый парк	275
Смерть сапера	280
Ожившая фреска.	284
Весна	286

НО ПРОДУМАН РАСПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ...

Гамлет	293
На Страстной	294
Зимняя ночь	297
Март	298
Бабье лето	299
Объяснение.	301
Рассвет.	304
Рождественская звезда.	305
Чудо.	309
Разлука	313

Свидание	314
Осень	316
Нежность	317
Земля	319
Магдалина	320
В больнице	326
<i>А. Ахматова. «Словно дочка слепого Эдипа...»</i> . .	329
Белая ночь	331
Весенняя распутица	332
Лето в городе	333
Ветер	335
Хмель	335
Бессонница	336
Под открытым небом	336

НО НАДО ЖИТЬ БЕЗ САМОЗВАНСТВА...

«Быть знаменитым некрасиво...»	342
«Во всем мне хочется дойти до самой сути...» . . .	343
Ева	344
Без названия	346
Душа	348
Когда разгуляется	349
Перемена	350
Золотая осень	352
Ненастье	354
Первый снег	354

После перерыва	355
«Не подавая виду, без протеста...»	357
За поворотом	358
Все сбылось	359
«Город. Зимнее небо...»	360
Пахота	362
После грозы	363
Дорога	364
Ночь	365
Музыка	366
Дурные дни	371
Гефсиманский сад	372
Божий мир	375
Нобелевская премия	377
Август	387
Хроника жизни и творчества Бориса Леонидовича Пастернака.	389

Литературно-художественное издание
Пастернак Борис Леонидович
СТРОКУ ДИКТУЕТ ЧУВСТВО

Редактор *И. Топоркова*
Художественный редактор *А. Новиков*
Технический редактор *В. Бардышева*
Компьютерная верстка *Т. Комарова*
Корректор *Г. Гудкова*

Налоговая льгота — общероссийский классификатор
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги,
брошюры.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 17.09.2001

Формат 70х100¹/₃₂. Гарнитура «Петербург»

Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,9. Уч.-изд. л. 11,38

Тираж 5000 экз. Заказ № 2312

ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс». Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97.
125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, подъезд 3.

Интернет/Home page — www.eksmo.ru

Электронная почта (E-mail) — info@eksmo.ru

ISBN 5-04-088111-8



9 785040 881116 >

Отпечатано с готовых диапозитивов
во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Книга — почтой: Книжный клуб «ЭКСМО»

101000, Москва, а/я 333. E-mail: bookclub@eksmo.ru

Оптовая торговля:

109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2

Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16

E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля:

117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1

Тел./факс: (095) 932-74-71

ООО «Медиа группа «ЛОГОС». 103051, Москва, Цветной бульвар, 30, стр. 2

Единая справочная служба: (095) 974-21-31. E-mail: mgl@logosgroup.ru

contact@logosgroup.ru

ООО «КИФ «ДАКС». Губернская книжная ярмарка.

М. о. г. Люберцы, ул. Волковская, 67.

т. 554-51-51 доб. 126, 554-30-02 доб. 126.

Книжный магазин издательства «ЭКСМО»

Москва, ул. Маршала Бирюзова, 17 (рядом с м. «Октябрьское Поле»)

Сеть магазинов «Книжный Клуб СНАРК» представляет
самый широкий ассортимент книг издательства «ЭКСМО».

Информация в Санкт-Петербурге по тел. 050.



Всегда в ассортименте новинки издательства «ЭКСМО-Пресс»:

ТД «Библио-Глобус», ТД «Москва», ТД «Молодая гвардия»,

«Московский дом книги», «Дом книги на ВДНХ»

ТОО «Дом книги в Медведково». Тел.: 476-16-90

Москва, Заревый пр-д, д. 12 (рядом с м. «Медведково»)

ООО «Фирма «Книинком». Тел.: 177-19-86

Москва, Волгоградский пр-т, д. 78/1 (рядом с м. «Кузьминки»)

ООО «ПРЕСБУРГ», «Магазин на Ладожской». Тел.: 267-03-01(02)

Москва, ул. Ладожская, д. 8 (рядом с м. «Бауманская»)

Любите читать?

Нет времени ходить по магазинам?

Хотите регулярно пополнять домашнюю библиотеку и при этом экономить деньги?

**Тогда каталоги Книжного клуба
“ЭКСМО” – то, что вам нужно!**



Раз в квартал вы **БЕСПЛАТНО** получаете каталог с более чем 200 новинками нашего издательства!

Вы найдете в нем книги для детей и взрослых: классику, поэзию, детективы, фантастику, сентиментальные романы, сказки, страшилки, обучающую литературу, книги по психологии, оздоровлению, домоводству, кулинарии и многое другое!

Чтобы получить каталог, достаточно прислать нам письмо-заявку по адресу: **101000, Москва, а/я 333.**

Телефон “горячей линии” **(095) 232-0018**

Адрес в Интернете: **<http://www.eksmo.ru>**

E-mail: **bookclub@eksmo.ru**



Маслюков